

## Болтовня

### Повесть

Опять! Опять назло мне она сожгла мои записки. Точно ей станет легче, если я не буду писать. Как бы не так. Нельзя писать? Так я начну разговаривать. Но от моего языка не поздоровится ни жене, ни богу, ни начальникам, ни мне самому...

Все неприятности сваливаются на человека сразу. Утром я получил "старого дурака". Правда, чтобы наступить в трамвае на ногу соседке, ума не требуется. Но не мог же я не прищелкнуть языком и не назвать ее "шляпой". "Шляпу" она поняла буквально и, обидясь за букет на голове, прибавила к "дураку" "хама". Ах, так? Хорошо же! Весь вагон участвовал в перепалке. Но высадили только нас двоих. Я искренне пожелал ей — расфыркавшейся кошке — счастливого пути и на рысях — лишних денег у меня нет — побежал в типографию. Однако на работу поспел вовремя. Как провинившийся мальчишка, подлетел я к кассе с полученным от метранпажа текстом, и стаей веселой мошкары заносились под моими руками свинцовые буквы. Казалось, они даже жужжали. И я, увлекшись работой, меньше переругивался с соседями. Зато и досталось мне от них за обедом. Подумать только — за что? За слишком хорошую работу! Извольте ли видеть, никто не может за мной угнаться, и если мне легко выколотить свои деньги, то другим надоело равняться по мне, они и так не справляются с нормой. Я за словом в карман не полез. Вам не нравится моя работа? А мне не нравится ваша. Бросьте верстатку, штопайте носки — в этом деле вы успеете больше. Одним словом, мы поссорились. До вечера мне пришлось разговаривать с самим собой. Это общество меня не устраивало. Я отправился на производственное совещание. Разговаривали о недостатках. О недостатках? Значит, не хватало только меня. О недостатках? По этому поводу у меня есть о чем поговорить. Но не успел я разойтись, как мне заявляют: "Ваше время истекло". Мое время? Невелико же мое время! Пять минут? Да за пять минут не успеешь опорожнить желудок... Вы не дали мне поговорить — я не буду вас слушать. И я решил пожаловаться на нынешнюю молодежь внуку. У моего сына здоровый трехлетний мальчишка и хорошая — мне она не нравится — жена. Сознаюсь, против невестки у меня зуб: из — за нее мой сын переехал в отдельную квартиру. Пожалуй, она была права. У меня в подвале не слишком просторно и уютно. Теснота, сырость, грубая и

неграмотная старуха — я к этому привык — способны извести и не такую сублинную невестку. Однако обе жены — моя и моего сына — друг друга стоят. Но что это я разболтался о невестке? Она принадлежит моему сыну. А вот внуку надо купить шоколадину... Придя к внуку, я весело хлопнул дверью и схватил цветущего карапуза в грубые стариковские объятия.

— Эге, какой он у вас бледный, — нарочно говорю я. — На улицу его, на мороз. Он сразу станет розовым.

Видеть бы, как обрадовался скучающий малый! Но разве можно отпустить приличного ребенка со мною — слишком простым стариком.

— Нет, Владимир Петрович, — сухо заявляет моя невестка Нина Борисовна. — Лева гулять не пойдет, сегодня резкий ветер.

Я ответил:

— Резкий? Тысячи детей играют на улице, и беда небольшая, ежели кто — нибудь из них отморозит ухо, — снега хватит на всех, а дожидаться теплыни невыгодно, при нашем климате надо приучать детей к скверной погоде.

Ладно, нельзя гулять, утешим внука шоколадиной. Приятно было смотреть, с какой радостью мальчишка схватил копеечный подарок.

— Леве, — опять вмешалась Нина Борисовна, — дается только молочный шоколад. Возьмите, Владимир Петрович, свою конфету обратно.

Проклятая баба! Я взял, сунул шоколад в карман, буркнул "до свиданья" и, не глядя на плакавшего дитенка, поспешил убраться домой. Старуха встретила меня сносно и даже не послащивала обед воркотней. Но на беду я попросил ее пришить к штанам пуговицу. Она обнаружила в кармане растаявший шоколад. Господи, что тут поднялось! Я оказался старым, выжившим из ума, развратным плутом, я урываю от семьи последние гроши, я украдкой поедаю неисчислимое количество сладостей — ведь она знает, что сладкого я не ем. Пусть я — она бы еще поняла — украдкой пьянствовал: так поступают все соседи. Но есть потихоньку сладости!.. Честное слово, я схватил штаны и натянул их себе на голову. Не знаю, как я вытерпел весь поток брани, — оправдываться было бесполезно. Но заключение меня обрадовало: она собрала размазавшийся шоколад на бумажку и с упреком крикнула:

— А я отнесу этот шоколад нашему внучонку!

Тут уж захохотал я: "Отнеси, отнеси, голубушка, — подумал я, — ласково там тебя встретят". После этого мы стали обмениваться любезностями ленивее, и я, так и не дождавшись дочери, свалился на кровать, и жена могла в одиночестве продолжать свое пение под аккомпанемент труб и скрипок, уместившихся в моем носу.

Пробуждение было прекрасно. Кривой луч солнца бежал по полу, играл над столом тысячами веселых пылинок и щекотал мои

глаза. Сегодня воскресенье. Во всей квартире тишина. Никого нет, все разошлись по своим отложенным до праздника маленьким человеческим нуждам. Я один. Старуха проведет утро в церкви, потом побежит на рынок. Рынок интереснее церкви — там она будет еще дольше, по дороге домой занесет внуку шоколад... Господи, как ее там встретят! Она так обозлится, что пойдет по крайней мере к двум — трем приятельницам излить свою досаду на меня, на невестку, на дороговизну и, конечно, на большевиков. Моя дочь Валентина небось с раннего утра долго вертелась перед зеркалом, повязывая пионерский галстук, а сейчас со всем отрядом горланит комсомольские песни — в наше время песни были лучше — и едет на пригородном поезде до ближайшей станции — каждое воскресенье она проводит на лыжах.

Я один. Какая благодать! Можно не спеша встать, умыться, пофыркать и покряхтеть, как и сколько тебе угодно, выпить оставленную для меня старухой кружку молока и сесть за свои записки.

Но сегодня я их не нашел. Упрямая старуха опять уничтожила все до единого клочка. И почему она так не любит мои записки? Должно быть, чувствует, как много там достается на ее долю. Хотя она должна знать, что там достается всем — всем сестрам по серьгам, и она только из любви ко мне уничтожила документ, свидетельствующий о моей неприязни к миру.

Назло ей начнем записки в третий раз.

Владимир Петрович, пожалуйста бриться! А почему мне и в самом деле не побриться? За неделю щетина отросла на полтора пальца. Хорошо, что мы со старухой спим друг к другу спинами. А каково было бы, если бы с нас скинуть нажитую седину, — жена каждый день вставала бы исцарапанной.

Право, я сохранился хорошо. Волосы густы — не только нет помину о лысине, но они заботливо прикрывают морщины на лице — помнятся мне еще до женитьбы, новых время не прибавило. Верно, худоват, но это не от нездоровья. Слишком красен нос, что ж, он живой и яркий свидетель побед, одержанных мною над полками пивных бутылок, над эскадрильями северных ветров, над саперными отрядами моих пальцев... Да, я люблю поковырять пальцем в носу. Маленькие глаза быстро перескакивают с места на место, вот опять беспокойный взгляд понесся вслед забежавшему солнечному зайчику. Раз! — и бритва врезалась в подбородок. Так тебе и надо: не глазей по сторонам.

Сегодня у меня много свободного времени. Покопаемся в прошлом — настоящего хватает по горло.

Дядя, сколько тебе лет? Черт побери, неужели пятьдесят четыре? А моей жене и все — да, позвольте, позвольте, давно ли она была девчонкой? — и все пятьдесят семь. И какая верность, какое постоянство! Я невольно обращаю взгляд на нашу простую широкую

кровать, покрытую ватным, сшитым из лоскутков одеялом. Приятельница, как ты мне близка! Ты была куплена перед свадьбой, тридцать лет ты ютила наши тела, согревала и благословляла нас, ссорила и мирила, ты стонала громче и дрожала сильнее, чем моя жена, на которую в грозе и буре я вел наступление.

Когда мы обвенчались, у нас были только ты да пузатый, сожженный в девятнадцатом году комод, — счастье твое, ты сделана из железа.

Как на тебе орала Анюта, когда рожала сына! Слава тебе, господи, Ивану стукнуло уже двадцать семь, и он не оставил меня без внука. Значительно тише охала Анна Николаевна — она здорово запоздала с дочерью, — когда двенадцать лет назад подарила мне Валентину. Только двое ребят. Мало, но лучше, чем если бы их была дюжина и десять из них умерло, — только двое, зато живых и здоровых.

Сын не пошел в меня.

Отец мой — была бы ему земля пухом, если бы он в Клязьме не утонул, — в Щелкове на фабрике Кондрашова одним из лучших ткачей считался. Сорок лет у станка проработал и еще бы десяток успел, кабы не утонул раньше времени. Ребят было у него много, жили голодно, и с тринадцати лет меня по знакомству в типографию пристроили. Ого, папаша! Я перегнал тебя — моей работе пошел пятый десяток, и если знатоки твои бархаты и гроденапли от лионских отличить не могли, то таких наборщиков, как твой сын, в Москве найдется немного. Я не хвалюсь. За меня говорит заработок: две сотни в месяц — ты таких денег не видал и за год. И ведь это за восемь часов работы! А я еще помню, как ты при срочных заказах работал по шестнадцати. Времена переменялись: теперь в типографии хозяин я. Ты понимаешь, скелет, — я. И этого от меня не отнять. А вот мой сын начал тискальщиком, перешел в переплетную, а услышав призыв "Пролетарий, на коня!", уехал добровольцем на фронт. В этом деле мы со старухой разошлись во мнениях. Она говорила, что не стоит грызться из-за российской типографии, все равно ее отнимут обратно. Но у нас был хороший метранпаж, и нынче наша страна сверстана как надо. Но сын мой не вернулся к станку. В армии он стал коммунистом и не успел сбросить шинель, как — шутка сказать! — был назначен членом правления нашего полиграфического треста. Подумаешь, какой рабочий, какой специалист! Каких-нибудь шесть лет пробыл на производстве, только-только начал квалификацию получать, и потому, что ты коммунист, пожалуйста руководите нами, потерявшими на работе и легкие и глаза.

Нечего врать: я сохранил и то и другое.

Женился Иван на коммунистке. Чуть ли не Нина Борисовна его и в партию рекомендовала — на фронте они встретились.

Нина Борисовна, когда замуж за него выходила, была

коммунистка, в просветах не то театрами, не то лекциями какими — то заведовала. Но барышня сказала скоро: денег достаточно — отец, инженер, ей еще помогал; родился ребенок, пофасонистее — Львом назвала, и — Леве нельзя ветра, Леве нужна клизма, Ване заграничные носки, себе — прислуга, абонемент на концерты. Не стало у нее времени на жизнь хватать — одно сплошное существование.

Но живут они дружно и друг друга, кажется, любят крепко.

Валентина радуется больше. Эта и рожать сумеет и от ветра не спрячется. Нет, не спрячется. Будет штопать носки, но первородство свое за таможенную пломбу не продаст. А пока учись, учись, девчонка, благо учишься ты хорошо.

# x x x #

К самому загаженному домишку, прожив в нем лет пятнадцать, привыкаешь. Привыкаешь, называешь свое чувство, паршивенькую привычку, любовью. И, растрчивая слабые человеческие чувства на окружающие нас мелочи, мы часто смеем не любить производства. Многие стремятся от часто пыльного — кто же в этом виноват, кроме нас самих? — станка домой к пахнущей затхлым уютom пеленке, торопятся вбежать поскорее в ласковую комнатенку, опереться локтями на выщербленный подоконник и, просунув голову между ветками бледно-зеленой никогда не цветущей герани, вдыхать уличную пыль.

Я люблю свою типографию.

Я помню ее еще небольшой, принадлежащей невозмутимому в казенном благодушии ведомству, помню ее медленный неуклонный рост.

Я не забыл тесного, с низкими потолками, с узкими, скудно пропускающими свет окнами наборного отделения. Нехорошо в нем было. Встанешь на тискальный станок — рукой потолок достанешь.

Сейчас стало лучше. Не намного, но лучше. Подняты закопченные, с выпирающими балками потолки. Балки ушли далеко вверх и спрятались за ровной белой поверхностью, потолок не напоминает гробовой крышки. Прорублены большие окна — узкие щели сменились щедрыми на свет, чисто вымытыми стеклами.

Но и сейчас не все у нас хорошо.

— Терпение лопается, — хором жалуются работницы. — Во время смывки шрифтов невозможно дышать, глаза заливают слезой. А все из — за скипидара...

Над всей типографией властвует тяжелый едкий запах дешевого скипидара. Нашему директору повезло на скипидар. Не знаю, где он его выкопал, но хуже найти нельзя. Правда, этот сорт скипидара дешев, смывка шрифтов обходится типографии в гроши,

но работать невесело — он вреден.

Печатное отделение ходило к директору жаловаться.

— Не духи же лить, — холодно ответил директор.

Много пыли. Пыль зла, надоедлива, бороться с ней трудно — ни мехов, ни вентиляторов нет. Нет вентиляторов? Не ври, Морозов, не ври. Вентиляторы есть. Они поставлены еще давно, и, право, даже приятно изредка на них поглядывать. Ты хочешь сказать, что они не работают? Верно. Но тем не менее вентиляторы есть. Морозов, ты хитро прищуриваешь глаз?.. Жулябия! Ты знаешь: они предназначены не для борьбы с пылью, а для... Впрочем, помолчим. Возможно, когда-нибудь ты скажешь, для чего предназначены вентиляторы.

Скверно работать по вечерам. Лампочек мало, и, как безнадежно далекие звезды, мигают они в вышине. Мигают слабым красноватым светом — они угольные. Слаб накал и у лампочек и у нас — накались больше, мы сумели бы получить яркий свет. Не всегда удается избежать вечерней работы. Тогда набирать приходится чуть ли не на ощупь, а оригиналы читать, прижавшись к ним носом.

И главное: все не на месте, все не налажено, все делается кое — как.

Прибегаешь утром на работу, получаешь гранки — править авторскую корректуру. Взглянешь на гранки: правки мало. Похвалишь ленивого автора — и ахнешь: наверху в левом углу пометка "н.п.". Это значит: на полу.

Наша типография завалена заказами. Наборное отделение невелико. Доски с гранками навалены в углах, приткнуты у стен, сунуты всюду, куда можно.

Увидав роковую пометку, наборщик начинает ползать по полу. Поиски нужной доски продолжаются и час и два. А не дай бог срочный заказ! Прибегает сам директор и начинает копать во всех углах. Директору помогает метранпаж. И стоит наборщик дурак дураком, смотрит на ругающегося директора, на поддакивающего метранпажа, теряет рабочее время и ждет, томительно ждет, пока они, перекидав досок двадцать, найдут наконец нужный набор.

Беспорядок у нас, сущий беспорядок!

И все — таки я люблю типографию — мою родную, мою хорошую, мою непутевую.

# x x x #

Только что приходили звать на собрание жилищного товарищества.

Не пойду! Надоели мне пустые разговоры. Вытянется у стола Печкин — он счетоводом служит, — выгнет ручку калачиком, гордо

поведет острым маленьким носом и начнет агитировать:

— Граждане, граждане! Дом нуждается в ремонте. Надо перекрыть крыши, надо поштукатурить стены, надо переменить рамы, надо поставить подпорки у левого флигеля — разваливается. Средств же, граждане, нет.

На этом месте Печкин закатит глаза, вздохнет и с подъемом продолжит:

— Всего этого нам не сделать. Давайте хоть внешность приличную дому придадим. Давайте его хоть с уличной стороны покрасим. Проведем самообложение — по рублю с человека — и покрасим.

Приказчик из гастрономического магазина, бузотер Самойлович, всегда толкающийся в задних рядах, гневно закричит:

— Буржуй! Не с человека по рублю, а согласно квартирной плате... Интеллигент!

— Да, я интеллигент, — гордо возразит Печкин, поправляя лоснящийся, усыпанный красными цветочками галстук. — Я интеллигент и стою за культуру: пусть хоть внешность дома будет прилична.

Самойлович и Печкин обязательно поругаются. В спор вмешаются все. Будут обзывать друг друга буржуями и хамами и, не решив вопроса о средствах, начнут голосовать — розовой или зеленой краской красить дом.

Как много собраний, как мало дел! Мы говорим невероятно много — дела должны обгонять разговоры. Не пойду я на это собрание.

# x x x #

Звонок. Перерыв.

Мой сосед Климов решительно стукнул верстаткой — подпрыгнула недобранная строка — и развалисто зашагал к двери.

Я догнал его около умывальника и боком, будто не замечая его, протиснулся вперед и отвернул кран.

— Стар, стар, а жульничать не устал, — укоризненно хмыкнул Климов, с изрядной силой шлепая меня по лопатке.

— Подумаешь, малый ребенок! — отозвался я. — Постоять за себя не сумеешь. Смотри, как дерешься!

— А ты думал — спускать буду? — усмехнулся Климов.

Мы не спеша вымыли руки, высморкались — какая только дрянь в наши носы не набивается! — и пошли к себе обратно.

Буфет в типографии тесен: человек пять набьются — и повернуться негде. Большинство рабочих предпочитают закусывать там же, где работают.

Когда мы возвратились, шашечный турнир был в самом

разгаре. Не успеет наступить время обеда, как наши комсомольцы без промедления принимаются за игру. Шашек нет — вместо шашек квадраты да полуквадраты идут. Весь перерыв напролет в шашки дуются. В одной руке — булка, в другой — свинцовый квадрат.

Климов аккуратно разворачивает принесенный из дому сверток, достает бутылку с молоком, изрядный ломоть черного хлеба и кусок вареного мяса. Он бережно раскладывает все это на бумаге и, то и дело поглаживая черные, начинающие сесть усы, неторопливо отщипывает толстыми пальцами и отправляет в рот куски хлеба, запивает их молоком и не спеша, между едой, разговаривает со мной — постоянным соседом по работе.

Раньше мы недолюбливали друг друга. Он малOVER. Я же верю в свою работу, верю в хорошую жизнь, верю в себя. И Климов вечно надо мною смеется.

Но мы еще посмотрим, кто кого пересмеет!

Нам надоело вечно обмениваться колкими любезностями, постепенно мы начали спускать друг другу ехидные замечания, привыкли к нашим скверным характерам и теперь вместе постоянно калякаем о производстве. Здесь Климов победил меня, здесь малOVER взял верх: у нас в типографии трудно во что —нибудь верить — такой неприступный беспорядок.

Климов взмахнул рукой, плотно сжатым волосатым кулаком помахал в сторону двери и прокричал, ни к кому не обращаясь, старую свою угрозу:

— Эх, валяй, наваливай, разваливай — хозяина нет, начальников, сукиных детей, перевешать!

Неожиданно из двери раздался возмущенный голос:

— Несознательное трепло!

В помещение вошел секретарь партийной ячейки Кукушкин. Парень он неплохой, но бестолковый. Хотя какова типография, таков и секретарь... Или нет, это будет вернее: каков секретарь, такова и типография. "При чем тут секретарь!" — часто говорят мне соседи. Ни при чем, конечно. Но там, где секретарь жох, никто работать не плох. Кукушкина все рабочие зовут Кукушкой: прозвали по фамилии, но прозвище оказалось верным. Кукушкин вечно все начинает, затеями у него полна голова, — всюду кладет свои яйца, но никогда их не высиживает, ни одного дела не довел до конца. Я не скажу, что он плохой коммунист, но не ему быть главарем.

Кукушка вошел, окинул нас пристальным взглядом и недовольно спросил:

— Климов, это ты разорялся?

— А хотя бы я? — вызывающе отозвался Климов.

— Все вы такие, а нет чтобы помочь, — упрекнул его Кукушка.

— На производственное совещание никто не придет, а на работе только и знают, что ругаться.

Мы с Климовым переглянулись, поняли друг друга и дружно



накинулись на Кукушку:

- А нас зовут?
- Воду в ступе толочь?
- За пять минут что скажешь?
- У молокососов учиться?

Кукушка съезжился. Ему нечем было крыть: о производственных совещаниях большинство рабочих не имело понятия, толковали на них о всяких мелочах, а чуть доходило дело до главного, сам же Кукушка перебивал: "Это не нашего ума дело, администрация без нас разберется..."

Кукушка извиняющимся тоном произнес:

— Приходите сегодня!.. Обязательно приходите. Совещание назначено в восемь, немножко запоздаем — около девяти начнем.

Разве можно было его не обругать?

Я напустился:

— То-то и оно-то! В девять начнем! Кто же к вам после этого ходить будет? Вы бы еще позднее собирались. Никакой хороший рабочий в общественной работе участия принимать не будет. Завтра на работу к семи? К семи. А у вас трезвон будет до часа? До часа. А чтобы хорошо работать, нужно хорошо выспаться. Нечего говорить, — еще резче сказал я, уловив желание Кукушки возразить. — Все у коммунистов не как у людей. Люди по ночам спят — вы заседаете, а утром носами на работе клюете. Нет, не заботится партия о своих членах. Я бы приказал каждому коммунисту обязательно восемь часов в сутки спать, а у вас наоборот — хоть все двадцать четыре подряд работай. Того не замечаете, что за двадцать четыре непрерывных часа человек сделает меньше, чем за восемь после отдыха.

Все — таки Кукушка хотел возражать.

Счастливый случай лишил его этой возможности.

В дверь наборной протиснулся гармонист, пристроился возле верстаков, где закусывали рабочие, и развел малиновые мехи.

Игривый вальс поплыл по наборной.

Брови Кукушки удивленно полезли вверх по угреватому белому лбу.

— Что такое? — сказал он. — Кто допустил сюда гармониста? Я сейчас выясню в завкоме.

Недовольный Кукушка побежал, подгоняемый плавными толчками звуков.

— В самом деле: откуда музыка? — обратился Климов к соседям.

— Завком придумал, — объяснил тискальщик Лоскутов. — Культурное развлечение в момент перерыва.

— А Кукушка не знал? — обрадовался Климов.

— Видно, не знал, — хмыкнул я.

— Вот здорово! — захохотал Лоскутов. — Поругается Кукушка

сейчас в завкоме, не приведи бог.

И, точно назло Кукушке, ребяташки затаили гулливуую комсомольскую песню.

Привлеченный шумом, в наборную вошел директор, товарищ Клевцов. Мы его уважаем. Но и о нем поговорить можно, можно и его поругать. Клевцов работать умеет, спора нет, хороший работник. Но померещилось ему, что он семи пядей во лбу. Семь не семь, а около пяти будет. И вот решил Клевцов: ничьей помощи ему не нужно, никаких советов слышать не хочет... Все сам, остальные дураки. Ну, а все сам не сделаешь, иной раз надо и с дворником посоветоваться, как улицу лучше подмести. Один ум хорошо, а два лучше. Когда Клевцов расчухает эту пословицу, в типографии порядка куда больше будет.

— Веселитесь? — спрашивает директор.

— Веселимся, — отвечаем мы.

— Ну веселитесь, — говорит директор и идет дальше.

— Ладно, — говорим мы ему вслед и продолжаем пение.

О веселье заговорил! Нет чтобы спросить, как работа спорится.

# x x x #

Хотя шотландское виски крепче нашей водки, оно значительно легче. Чуть перепьешь водки — на душе становится противно, пьяная муть застилает глаза. Виски пьешь много — и все нипочем: голова ясная, но, только захочешь встать, ноги не слушаются: оно, подлое, в ноги ударяет. Если бы не пахло аптекой, совсем расчудесное вино было бы...

В нашей типографии печатается несколько распространенных иллюстрированных журналов. Сделать хороший журнал — большое искусство. Надо вкусно подать рисунок, аппетитно разместить текст и запустить вокруг клише такую оборку, чтобы у понимающего человека голова закружилась... У понимающего голова еще больше закружилась бы, если бы он услышал нашу ругань при верстке.

Едва ли не лучший у нас выпускающий Павел Александрович Гертнер. Похож на иностранца, лощен, предупредителен, ему всегда сопутствует вежливое поблескивание больших шестигранных очков. Теперь каждый репортеришка носит целлулоидовые очки, черные или желтые, сразу заметно, как человек старательно пытается "держать фасон". Гертнеровские очки не таковы, они не сделаны под границу, они действительно роговые и выписаны из Чикаго. И все — таки, несмотря на заграничный лоск, Гертнер свой, обходительный человек, умеющий разговаривать с рабочими на одном языке.

Приезжая ночью верстать журнал, Гертнер часто привозит виски. Он устраивается в отведенной для выпускающих каморке,

аккуратно кладет на стол пальто и шляпу, снимает коричневый пиджак, вешает его на электрический выключатель и с синим карандашом ложится прямо на стол, низко склоняясь над сырыми оттисками. Время от времени он прерывает работу, выходит покалякать с нами в наборное отделение, спорит с метранпажем и приглашает нас к себе. Мы охотно заходим к нему в каморку — никто не прочь угоститься вкусной шотландской водкой, и, в свою очередь, мы всегда, когда оно у нас бывает, — нечего греха таить, оно у нас иногда бывает, — угощаем его казенным вином. Гертнер не церемонится, пьет, и ни мы, ни он никогда не остаемся друг у друга в долгу.

В эту ночь мы завели обычный разговор. Кто-то из нас пожаловался на свою собачью землянку. Я тоже заворчал о холодном подвале. Гертнер вздохнул, обругал свою комнатенку — тесно и неудобно. Пожалуй, мы побранились бы и так же быстро перескочили бы на новую тему — мало ли okazji побраниться? Но Гертнер, засунув руки в карманы, повел плечами и вслух произнес пришедшую ему в голову мысль:

— А почему бы нам не организовать жилищный кооператив?  
Так было положено начало нашему дому.

# x x x #

Тихо в наборной. Работа идет безостановочно, каждый занят делом, и все же у нас необычно тихо. Нет страдной рабочей суеты. Дело делается — и ладно. Случится простой, тоже никто не беспокоится.

— Товарищ старшой, что делать? — обращается к метранпажу Костомарову наборщик Андриевич.

— Посмотри, нет ли где сыпи, — лениво отвечает тот. — Рассортируй что есть.

Тихо.

Скучно набирать без веселой перебранки. Вот оно — лежит передо мной пространное объявление. За веселой руганью, за язвительными речами незаметно попались бы под руку красивейшие шрифты, и часа через три тиснул бы я затейливое, на удивление художникам, объявление. Сейчас в ленивой тишине работа течет медленно и монотонно.

Поневоле прислушиваешься к разговорам соседей.

Прислушиваешься и злишься — до чего нынче мелкотравчатый народ пошел!

Вот они — двое молодых наборщиков, Мишка Якушин и Жоржик Борохович.

— Вчера с Колькой две дюжины шандарахнули, не считая половинки... Понимаешь? — говорит Жоржик.

Мишка понимает.

— Ну и как? — оживленно интересуется он.

— Меня раз пять рвало, — чуть ли не с гордостью похваляется Жоржик. — Недавно синий костюм справил — весь загадил.

Больше от скуки вмешиваюсь я в разговор.

— И весело тебе было? — обратился я к Жоржику.

— Какое там весело — одна буза! — скучно ответил Жоржик, отмахиваясь от меня рукой.

И Жоржик и Мишка еще дельные ребята, пить пьют, лишнее пьют, но на работу приходят вовремя и работают неплохо. Не то что Жаренов.

Жаренов — личность примечательная.

Вот и сегодня пришел Жаренов на работу будто трезвым. Стал у реала, набирает — все в порядке. Вдруг — точно нечистый его под руку подтолкнул — хлопнул на пол верстатку, весь набор, понятно, к свиньям, а сам Жаренов посыпал заливчатской однообразной бранью.

Пьян. Сразу все заметили, но никто к нему не решился подойти, — пьяный Жаренов зол и силен.

Только Костомаров остановился поодаль и говорит:

— За сегодняшний день с тебя удержат.

— Удержат? — гаркнул Жаренов и без удержу начал крыть Костомарова последними словами. — Удержат? — кричит Жаренов. — Не посмеете! Я на работе был... Слышишь, такой — сякой: был!

Костомаров боится его кулаков. Он согласен: был так был.

К вечеру хмель с Жаренова сошел.

Подошли мы к нему, Климов, Якушин, я.

— Где ты деньги на пьянку берешь? — спрашиваем. — Получка давно была, а ты каждый день пьян.

Жаренов ухмыльнулся и со смешком отвечает:

— И сам беру и вас научу: в кассе взаимопомощи.

— Да как же тебе дают? Всем известно: ты только на пьянку и одалживаешь? — удивился Якушин.

— Я пишу "на домашние нужды", — попробуй не дать! — смеется Жаренов.

Что ты с ним будешь говорить! Выругал его Климов и прочь пошел.

Порядки!

Но сердит я не на Жаренова, а на Кукушку. Ему все как с гуся вода.

# x x x #

Попался я в переделку! Ей — ей, иногда нечем было крыть пристававших.

Я беспартийный. Не такой беспартийный, как Жаренов, который только и норовит усмехнуться и сказать: "А вот опять коммуниста — жулика поймали..." Не такой беспартийный, как Чебышев, которому все равно, какая бы власть ни была. Нет. Мне было приятнее набирать в восемнадцатом году листовку, печатавшуюся на серой грязной бумаге, чем роскошные сборники стихов, набравшиеся елизаветинским — какой это прекрасный шрифт! — корпусом. Я за коммунистов, они — мои товарищи по станку, мои соседи по сырому подвалу, все они такие же, как я, а была ли в моей жизни хоть одна минута, когда я не хвалил самого себя!

Мне понадобилось заглянуть в завком. Все в одной комнате — завком, ячейка, комсомольцы. Так вот: у ячейкового стола сидит незнакомый мне молодой паренек в толстовке и ворчливо бранит секретаря. Я прислушался. Речь шла обо мне. Не о Морозове, — очень ему Морозов нужен! — а о пожилом квалифицированном рабочем: паренек выговаривал секретарю ячейки за плохое втягивание рабочих в партию.

— Что я могу поделать? — оправдывался Кукушка.

Паренек укоризненно мотал головой.

Кукушка сконфуженно смолк, но, на свое счастье, заметил меня, обрадовался, что может прижать к ногтю паренька из райкома, и налетел на меня коршуном:

— Говорите, мы ничего не делаем. А вот взять, к примеру, хотя бы Морозова, — победоносно воскликнул он, схватив меня за рукав. — Скажи, старик, сколько раз уговаривали мы тебя вступить в партию?

— Не считал, — посмеиваясь, отозвался я, готовясь к очередному нападению.

Действительно, паренек в толстовке нахохлился молодым петушком.

— Здравствуйте, — располагающим к знакомству голосом произнес он, протягивая руку.

— Здравствуйте, — ответил я ему, всем своим тоном подзуживая его и говоря: "Ну — ка, попробуй меня куснуть".

— Давно работаете на производстве? — начал разговор паренек.

— Да уж не мало, — ответил я, ехидно поглядывая на него.

— Лет пятнадцать? — желая польстить мне, попытался догадаться паренек.

Я выждал минутку и сказал:

— Скоро стукнет сорок два.

— Вам? — не поняв меня, переспросил он.

— Не мне — мне уже пятьдесят четыре.

Паренек смутился и не находил подходящих слов.

Потом вдруг растерянно выпалил, точно перед ним стояла

молодящаяся особа женского пола:

— Вы выглядите значительно моложе.

Я не мог не съязвить:

— Ах, нет, молодой человек, я уже совсем старая.

Паренек смешался.

На помощь ему пришел Кукушка.

— Лучше скажи нам, Морозов, почему ты не вступаешь в партию? — открыл он по мне пулеметный огонь.

Началось! Я знал, что теперь они засыплют меня десятками вопросов и мне надо держать ухо востро, обстрелять их ответами и заставить отступить.

Так и есть, они затараторили в два голоса:

— Почему вы не вступаете в партию?

— Иди к нам вместе налаживать производство.

— Старый рабочий, а стоите в стороне от партии...

Так вы ничего не придумали нового? Ну, а эти вопросы давно известны, на них я отвечаю как по писаному.

— Я и так коммунист, — твердо заявил я.

— Знаем, знаем: коммунист без партбилета, — закукарекал паренек. — Зачем, мол, мне партия? Старая отговорка. Неужели вам не ясно: человек беспартийным быть не может. Это буржуазный взгляд. Ведь у вас есть же какие-нибудь интересы? Совпадают же они с интересами каких-нибудь людей? Посмотрите, кто эти люди, к какому классу принадлежат, потому что к тому же классу принадлежите и вы.

Ну, хоть бы одно новое слово!

— Хватит! — сердито обрезал я паренька. — Все это мы и слышали и читали, — придумайте что-нибудь поновее.

Я уже было собрался уходить, да пожалел паренька: он, несчастный, должно быть, свои доводы наизусть неделю зазубривал, а они никому не нужны, совсем я его оскандалил перед Кукушкой, весь выговор насмарку пошел. А ведь Кукушка не лучше его. Я задержался и, глядя в упор на Кукушку, назло ему, заявил:

— А еще не вступаю в партию потому, что не хочу среди рабочих авторитет потерять.

— Как? — только и смог удивиться паренек.

— А так, — объяснил я ему. — Наша ячейка прямо до самозабвения выдвигает коммунистов на производстве. Смотришь: поработал парень в типографии год-два, вступил в партию — и сразу с пятого разряда на девятый. А беспартийные рабочие по пятнадцать, по двадцать лет работают, и чуть что — им снижают разряд.

И, преподнесши эту пилюлю скисшему Кукушке, я немедленно удалился.

# x x x #

Интересно, какой вышел бы из меня ученик. Мне не довелось испытать этого удовольствия. До тринадцати лет я, к своему позору перед сверстниками, только и делал, что нянчил бесчисленных своих младших сестер и братьев и из всех букв знал только "буки", да и то потому, что с этой буквы начиналось грязное слово, постоянно находившееся в нашем обращении. Будучи совершенно неграмотными мальчишками, мы быстро запомнили и научились от старых, матерых хулиганов писать нехорошие, похабные слова. "Буки" была наша любимая буква, ее мы с особенным удовольствием выводили при помощи грязи и пальца на окнах и дверях домов, ютивших фабричных девушек. Тринадцати лет я попал в типографию. Там меня тоже не столько учили читать, сколько отличать петит от цецеро, ренату от медиовали. Теперь я хорошо умею и читать и писать, но вот учиться мне не пришлось. И мне любопытно, какой из меня вышел бы ученик.

Валентина хорошо считает, но ей не дается русский язык. Ошибок, делаемых ею, нарочно не придумаешь. А ведь еще годик, и она кончит школу.

Позавчера просыпаюсь в первом часу. Смотрю: сидит Валентина с осолопевшими глазами и уныло и как нельзя медленнее пишет.

— Девчонка! — кричу я. — Чего ты там пыхтишь?

— Не мешай, — огрызнулась она и снова зацарапала карандашом по бумаге.

Если верить романам, девчонки по ночам пишут любовные письма. Мне не хочется верить романам. Но если они правы — это надо проверить — дочь следует отлупить.

Я выполз из — под теплого уютного одеяла, с неудовольствием встал на холодный, шершавый пол, подтянул подштанники и подошел к Валентине.

Отсвет зеленого абажура делал бумагу и лицо девчонки особенно бледными, но и без отсвета было заметно, что лицо не розовее бумаги.

Я оперся на худенькое плечико и заглянул в тетрадь. Романы ввали. Двенадцатилетняя девочка занималась тем, чем следовало ей заниматься, она писала школьное сочинение.

Неуклюжим детским почерком вверху страницы было выведено "Крепостное право по рассказу "Муму".

— Что это за "Муму"? — спросил я дочь.

— Папа, не мешай, — сонным голосом отозвалась Валентина.  
— "Муму" — рассказ Тургенева. Я спешу. Сочинение надо сдать послезавтра.

— Тургенева? — вспомнил я. — Как же, я этого писателя знаю. Ну, конечно, знаю. Он написал "Записки охотника", и потом я читал

его же роман... Подожди, дай бог памяти, да, да... "Дым"! Но "Муму"...

— Пожалуйста, не мешай, — повторила она. — У меня и так ничего не выходит.

Она была права. Несколько неровных, путаных строчек метались в беспорядке, насакивали друг на друга, и каждая нижняя явно хотела столкнуть стоявшую выше себя. Достаточно было мельком взглянуть на тетрадку, чтобы с уверенностью судить о неспособности Валентины к сочинительству, — девчонка пошла в меня.

Возможно, это нехорошо, но я предложил ей помощь.

— Когда тебе нужно сдавать сочинение? — спросил я.

— Послезавтра, — с досадой отозвалась Валентина, упрямо царапая бумагу огрызком карандаша.

Я не знал, как начать речь с предложением своих услуг, но девчонка помогла сама.

— У всех подруг грамотные родители: той мать поможет, другой отец, — пожаловалась она, — и они успевают. А я — одна.

— Совестно тебе жаловаться, — успокоил я дочь. — А я на что? Завтра же напишу тебе сочинение.

Откровенно говоря, мне было любопытно узнать, могу ли я написать сочинение. Ну, и, пожалуй, следовало помочь Валентине.

— А ты сможешь? — недоверчиво спросила она.

— Еще бы, — уверенно успокоил я ее. — Сочинение я напишу хорошо.

# x x x #

Кончив работу, я побежал в библиотеку.

Не успел грязноватый Морозов подойти к прилавку, миловидная костлявенькая барышенька деловито оперлась локтями на прилавок и начала бубнить приветствие:

— Отлично! Вы, я вижу, гражданин, занимаетесь физическим трудом. Дайте ваш профсоюзный билет... Отлично! Вы, я вижу, наборщик. Отлично! Могу рекомендовать произведение о возрождающемся строительстве — "Цемент" Гладкова... Отлично! Произведение американского социалистического писателя Синклера о братоубийственной империалистической войне — "Джимми Хиггинс", о положении рабочего класса в Чикаго — "Джунгли"; кроме того, имеется сборник "Вагранка", повесть пролетарского писателя Ляшко "Доменная печь"... Отлично! Я вам сейчас подберу производственную повесть пролетарского писателя.

Без передыха пробубнила она зазубренную речь, повернулась и ринулась к книжным полкам.

— Тпру! — остановил я библиотекаря. — Постойте, барышня, мне не нужно никаких пролетарских писателей.



Она моментально повернулась и — так и есть, пожалуй, она хуже моей старухи, — забубнила опять:

— Отлично! Прошу вас не тпрукать. Такие манеры оставьте для своего клуба, — здесь культурное учреждение. С семнадцатого года никаких барышень в нашей стране нет, никакого легкого чтения вы у нас не найдете.

Вдруг она остановилась, глубоко вздохнула и прямо в лицо мне произнесла:

— А?

Тогда я отдельно и внятно отчеканил:

— Дорогая гражданка, будьте добры, дайте мне рассказ писателя Тургенева "Муму".

Она широко открыла глаза и обрадовалась, снова найдя предлог для заученных выражений.

Переходя от полки к полке — она ходила долго, должно быть, нынче на Тургенева спрос невелик, — она не переставая обращалась к кому-то — ко мне, что ли? — со своей паскудененькой речью:

— Отлично! Тяга к классикам — явление, объясняемое рядом убедительных причин... Отлично! Однако почему именно Тургенев, а не Аксаков, Гоголь, Гончаров, Григорович, Достоевский и, наконец, почему не Толстой?

Ни библиотека, ни барышня мне не понравились. Получив книгу, я с удовольствием вышел на свежий воздух.

Пообедав, я вытащил на двор табуретку, поставил ее у окна и уселся читать Тургенева.

Тургенев — классик! Что значит классик? Или это значит — классно писал? Да, Иван Сергеевич Тургенев классно писал. Мне особенно нравится его простая, ясная речь. А слова! Как они ладно пригнаны друг к другу, построены красиво и убедительно. Так писать нынешние не умеют.

"Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленько произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал, но когда Капитон объявил наконец, что он по одному случаю должен завтра же руки на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча".

"Они разошлись грубо и молча"... Этим сказано все. Хватит! Жаловался слабый человек, жаловался, а как дошло дело до смерти, товарищ заметил, что пора спать. Верно! Каждому бы человеку это знать: захотелось руки на себя наложить — пора спать.

И не так ли рабочий человек горе свое срывает:

"В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге

разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками".

И не так ли мы, люди, теряем любимых?

"Герасим ничего не слышал — ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по — прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по — прежнему поплескивали они о бока лодки и только далеко назади к берегу разбегались какие — то широкие круги".

Написано хорошо, очень хорошо, не лень весь рассказ переписать. И все — таки рассказ плох. Не наш это рассказ. Барин его писал, настоящий матерый барин. Ведь вот и Герасим обижен судьбой, и славная безобидная собачка погибла, и барыня скверная, и все — таки любя автору эта привередливая барыня, Герасим для него только несчастненький, нетребовательный мужичонка.

Это меня злит больше всего! Почему он нетребователен? Кругом стервы? Так ты бунтуй! Бунт, бунт нужен мне у писателя, а не сладкие благодушные слезы.

У нынешних писателей бунта сколько угодно. Жаль только, что одного бунта недостаточно, нужно еще уметь писать.

Однако я занялся Тургеневым всерьез, точно мне, а не дочери нужно писать сочинение. Сочинение?.. Взялся за гуж — не говори, что не дюж, — нужно писать сочинение.

# x x x #

Как они обвиняли друг друга! Семь смертных грехов быстро выползли из тайников человеческой души. Александров прославился чревоугодием. Все заработки отдает он своему животу: праздник — водочка, селедочка, колбаска и — святое святых — кулебяка. Иващук скуп. Крохотные заработанные копейки откладывает на черный день, бесконечный черный день, пугающий человека страшной неразборчивой тенью. Сухих высокомерен. Он никогда ни с кем не согласится, его мнение всегда должно торжествовать, совместная работа с ним невозможна. Никольский ленив. Не ему заниматься совместной стройкой, он лишнюю копейку ленится заработать себе на хлеб. Таверин раздражителен. Каждая мелочь служит ему поводом для скандала. Не человек — со спичками коробок... Пшик — и вспыхнул. Глязер завистлив. Он всегда чувствует себя обделенным, обойденным; завидуя другу, он может его съесть. Косач распутен. Попадись ему на дороге смазливенькая девчонка, он сбросит со своих плеч общественный груз ради возможности провести веселый час беззаботной любви.

Как они друг с другом бранились!

Но, отступив и взглянув со стороны на затеянное дело, скажем прямо: брани было необычно мало.

Брань на воротах не виснет. К делу, к большому серьезному делу, брань не имеет никакого касательства: брань бранью, дело делом.

Сдержанно говорил умный Гертнер. Точно исподтишка улещал он рабочих, и — глядь, глядь — наши ребята утихомирились, начали сталкиваться, и, глядь, они уже голосуют за одно, все говорят, как один.

Начало положено.

У нас будет дом.

Какое наслаждение! Вместо скучной квартиры — мой подвал, будь ты проклят! — я получу прекрасное просторное помещение и даже с ванной. Гм... ванна? Ни разу в жизни не пробовал я этой штуки. Вкусна ли она? Гертнер уверяет, что, попробовав однажды, я не променяю ее на общую, засаленную по краям, шайку.

Мы строим дом. Не шутка: мы — шестьдесят человек. Шестьдесят человек, ненавидящих свои затхлые жилища.

Ненависть переиначивает мир.

# x x x #

Иногда прошлое вспомнить полезно. Но воспоминаниями не надо заниматься часто. Иначе они схватят тебя, ошеломят обухом будничного топора, настоящее вымажут сажей, а прошлые дни, нелюбимые нами дни, сделают розовыми и приятными.

Иногда воспоминание благотельно. Оно предупреждает повторение ошибок.

Большевики использовали воспоминания по-своему — они заставили воспоминания служить будущему, заставили воспоминания потакать ненависти. Они научили людей вспоминать не умилительно, не благоговейно, а с ненавистью...

Придуманно хитро и умно: мы, старики, разучились скулить, мы не возвращаемся в прошлое, мы, подогреваемые собственным брюзжанием, вместе с молодежью стремимся работать вперед.

Но молодежь — какое ей дело до прошлого? Жадность! Точно им не хватает будущего... "Нет, — говорят они, — дай — ка мы еще урвем кусочек этого горького стариковского прошлого".

С тайным недоброжелательством пошел я на устроенный комсомольцами вечер. Правильнее сказать: не шел, а меня вели.

Льноволосый Гараська увлек меня наивным своим приглашением. Гараське шестнадцать лет, работает он учеником, работает недавно, — приезду его из деревни нет полутора. Я знаю: пройдет время, Гараськин нос опустится книзу, и, если не примет

греческой формы, во всяком случае, потеряет курносые очертания, растущий на голове лен постепенно выцветет, потемнеет — и от пыли, и от насильно навязанного в случайной парикмахерской бриолина. Перестанет существовать и Гараська — прежде чем стать рассудительным Герасимом Ивановичем, он, возможно, будет некоторое время зваться Жоржем.

Я на приглашения не поддаюсь. У меня в запасе много обычных отговорок:

- А спать когда?
- Мне еще в лавку поспеть нужно...
- Уж вы там, молодые, забавляйтесь...

Гараська подошел ко мне не с приглашением, а с просьбой:

- Владимир Петрович, вы в клуб не пойдете?
- Нет. А что? — сухо отозвался я.
- Там вечер воспоминаний. Любопытно послушать, да боюсь — не все пойму. Хотел вас попросить разъяснить непонятное.

Я и пошел: не слушать, а разъяснить.

Клуб превратили в школу ненависти. Стриженных и кудлатых девчонок и мальчишек угощали рассказами о прошлом.

Целью разговоров было внушить молодежи ненависть к прошлому. Но до чего же неумело это делалось! Мне казалось: собравшихся в клуб голоштаных ребятишек добродетельно и упрямо угощают касторкой. Приглашенный рассказчик — нашли кого пригласить! — нудно бубнил о "фараонах". Он бы еще о египетских рассказал!

Желая добросовестно растолковать Гараське непонятное воспоминание, я внимательно слушал доклад. Но, хотя докладчик говорил долго, все сказанное было коротко и до смешного просто.

— Царское время — проклятое время. Революционеры гнили по тюрьмам. Городовые и жандармы... Молодежь изнывала в непосильном труде... Проклятое время — царское время.

Рассказ был утомительно скучен, и, однако, ребятежь походила на насторожившихся воробьев.

"Эге! — подумал я. — Если вы послушно вылизываете с ложки касторку, то с каким же удовольствием будете лопать сливочное масло! А раз так, я вас угощу, оно у меня в запасе".

Обычно у нас в клубе желающих выступить немного: со сцены долго взывают в публику, после тщетных окриков закрывают собрание и переходят к художественной части.

На этот раз охотник говорить нашелся.

— Ребята, смотри: Морозов хочет выступить! — приветствовали меня разрозненными восклицаниями.

— Итак, — начал я, — вам рассказали о последних днях царской власти. Что ж, об этом знать не мешает. Я же расскажу вам, каково было рабочим, когда хозяева были безнаказанны и когда мы существовали все порознь, — я расскажу вам о своем детстве.

Спокойно текла быстрая Клязьма. Ребенком я любил ее. Серьезные ребяческие забавы, изредка попадавшаяся рыбешка, сачки из грязных и порванных штанов, упрямые, царапающиеся раки, застрявшие в прибрежных норах, — все это было умирительно, и мы не жалели своих приятелей, попадавших в водовороты, нас не трогали причитанья серых наших матерей, лупивших живых детей смертным боем и плакавших над дощатыми, наскоро сколоченными гробами.

За рекою от самого берега рос широко развалившийся окрест бугор.

Рабочий поселок — угрюмый и низкорослый — можно было пройти быстро, можно было даже, проходя поселком, не заметить ни одного домишки.

Поселок расположился на берегу реки. Над рекою к другому берегу тянулись шаткие, вечно качающиеся мостки — детьми мы любили забираться на середину и мерными движениями ног раскачивали трухлявые доски, — а дальше узкая, отполированная тысячами пешеходов дорожка вела к дому на бугре, к фабрике нашего хозяина — Сидора Пантелеевича Кондрашова.

Попасть на фабрику было трудно: кондрашовский дом, амбары, сараи, фабричные помещения стояли, обнесенные глухой тесовой стеной.

Старики еще помнили на месте кондрашовской фабрики отцветавшую барскую усадьбу, но и старики путались, рассказывая о спесивых, промотавшихся графьях Нехлюдовых. Для наших отцов Нехлюдовы были дело прошлое, позабытое. Хозяином всех рабочих в округе был вечный наш благодетель Сидор Пантелеевич Кондрашов.

Много ворот и въездов имела нехлюдовская усадьба. Кондрашовская рука одни ворота наглухо заколотила, другие накрепко заперла. Только внизу под бугром, со стороны налетавшей прямо на зады старого барского дома дороги, находился главный и единственный въезд на фабрику.

За ветхим забором стояло раздавшееся вширь деревянное здание с кирпичными трубами.

Кондрашовское дело велось обширно, рабочих людей имелось много, шелка покупались по всему свету: до Кондрашова русские купцы ввозили один итальянский шелк, а Сидор Пантелеевич наш — умный был человек, хозяин, всю Италию обдурил да и Россию, пожалуй, — начал покупать нухинку и шемахинку в Закавказье. Не хуже итальянского закавказский шелк оказался, да и кто знает — не в Закавказье ли доставали его итальянцы? Завел Кондрашов торговлю с Персией — часто сваливали на фабричном дворе семипудовые кипы азиатского и персидского шелка.

И вот как жили на кондрашовской фабрике ваши дедушки. Часть рабочих — ну, резчики, например, — состояла на месячной плате, но большинство — ткачи, набивщики — работали сдельно, или

задельно, как тогда говорили. Рабочий день был невелик: месячные должны были работать по двенадцать часов в сутки, а задельным была предоставлена полная свобода распоряжаться своим временем. Из — за лишней копейки — да, да, не рубля, а копейки! — работали по четырнадцати, а при спешной работе, перед праздниками, по восемнадцати часов в сутки.

Кто — то из ребят упорно не сводил с меня пристального насмешливого взгляда. Я вгляделся. Колька Комаров недоверчиво щурил зеленые глаза, усмехался и всем своим видом говорил: "Бреши, бреши, старый черт, да не завирайся, хули прошлое, да не перехуливай".

Я замолчал. Тогда Комаров не выдержал и крикнул:

— Заливай!

Я даже покраснел от злости.

— Эх, ты, сопляк! Я вру?.. Охота была мне врать! Что видел, то и рассказал. Спроси любого старика, мальчишка!.. Но, может, вам неинтересно меня слушать?

Ребята захлопали в ладоши, и я продолжал рассказ:

— Работали, значит, иногда и восемнадцать часов в сутки, и вот как Кондрашов оплачивал рабочее время, немыслимый для нынешнего человека труд.

Больше всего на фабрике было ткачей, и отец мой считался среди них одним из лучших. В самые успешные дни — а успешными днями назывались такие, когда можно было работать по восемнадцати часов, — ткач не мог заработать больше рубля и семи гривен в неделю, дорогой товарищ Комаров.

— С какой же радости они тогда работали? — закричал линовщик Шульман, сидевший рядом с Комаровым.

— А с такой, — презрительно ответил я, сердясь на бестолковый вопрос, задерживавший мои воспоминания, — что есть хотелось.

Наступал день расчета, высчитывалась полная сумма следуемого рабочему вознаграждения, с нее скидывали стоимость всех полученных — ситцем, мукой, обувью — и потом немедленно производили уплату.

Я остановился, передохнул и перед тем, как рассказать об этой самой уплате, подошел к стоявшему на сцене столу, взял стакан с водой и освежил свое горло.

— Уплату производили немедленно, но не чистыми деньгами — деньги фабричный человек может прокутить, — а товарами: рабочих наделяли на кондрашовской фабрике сатином, бракованным штофом, а иногда и небольшим отрезом бархата.

После получки отец приходил домой рассерженным. Под руку ему первой старалась попасться мать, — на ней он срывал досаду, и таким образом мать спасала нас от затрещин. На следующий день мать укладывала получку в мешок и пешком отправлялась в Москву

продать бракованный штоф и купить необходимые припасы. Но иногда деньги надобились до зарезу. Тогда мать брала четырех или пятерых своих ребят и вместе с нами шла в контору на поклон к самому Кондрашову.

Мне помнится небольшая темная комната, обставленная шкафами, с большим, простой работы, письменным столом, за которым сидел хозяин — длинный, сухощавый человек с маленькой, всегда любезно наклоненной вперед головкой в рыжеватом паричке, подпертой высоким галстуком, обхватывающим тощую журавлиную шею. Одет он был всегда в темное, наглухо застегнутое сверху донизу пальто. Перед ним на столе лежала пачка образцов всевозможных тканей и рисунков, на одном краю высилась груда конторских книг, на другом — кипа распечатанных писем, прикрытых расчетными листами. Письменный стол окружали посетители в разноцветных костюмах: тут были и принарядившиеся крестьяне в красных рубахах и плисовых штанах, и какие-то молодые люди в гороховых пальто, с бойким выражением лиц, особняком стояли мещане в синих чуйках, а на стульях поодаль сидели бородачи купеческого вида — или в синих кафтанах, подпоясанных красными кушаками, или в долгополых сюртуках и высоких, надетых поверх штанов, сапогах.

— Запомнил, старикашка! — радостно воскликнул Комаров. — А я еще думал, врешь.

Я не обратил на него внимания и продолжал:

— Не знаю почему, но при появлении усталой моей матери в заношенном сарафане оживленный разговор смолк и присутствующие расступались, освобождая проход к столу.

Хозяин еще любезнее склонял голову набок и, дав матери время поклониться, холодно спрашивал:

"Вам что угодно?"

Мать вместо ответа жалобно восклицала:

"Батюшка Сидор Пантелеевич, да ведь вы же меня знаете, да я же к вам с тем же..."

"А именно?" — опять спрашивал Кондрашов.

Мать начинала причитать:

"Тяжело, больно, батюшка Сидор Пантелеевич... Долгов нам не обобратся, батюшка Сидор Пантелеевич... Ребята все обносились, батюшка Сидор Пантелеевич... Сделай милость, купи штоф обратно, батюшка Сидор Пантелеевич..."

Кондрашов делался еще длиннее и вежливо возражал:

"Нынче время неблагоприятное. Расчетная неделя денег у самого нет, а тут все идут... Не могу".

Тогда мать по очереди ставила нас всех, приведенных с собою ребят, на колени, становилась рядом с нами сама и командовала:

"Кланяйтесь!"

Искоса поглядывая на мать и соразмеряя по ней свои

движения, мы начинали безостановочно кланяться до тех пор, пока Кондрашов не говорил:

"Ну, будя. Куплю".

Тогда мы вставали и уже становились только свидетелями следовавшего за поклонами разговора.

"Почем продаешь?" — спрашивал Кондрашов.

"По рупь с гривенником, как отпускали", — говорила мать.

"Да ведь штоф — то бракованный", — укоризненно замечал Кондрашов.

"Да уж какой дали, — отвечала мать и тут же поспешно прибавляла: — Возьмите хоть по рублю".

"Семь гривен дам, — называл свою цену Кондрашов и тут же, смилостивившись, кончал разговор: — На квиток, поди к приказчику — по восьмидесяти возьмут".

Мать еще раз кланялась, брала квитанцию и уходила. За нею гуськом торопились мы, ребята, и сразу же, выйдя из конторы, разбегались кто куда.

Горло мое пересохло, да и надоело мне говорить, — надо было уступить место другим. Следовало только хорошо кончить речь, но у меня ничего не вышло.

— Раньше — то жили так, а вы говорите... — сказал я и запнулся.

Но все дружно захлопали.

А девчонки даже закричали:

— Молодчина, Морозов, молодчина!

В это время в зале неожиданно потух свет — кто — то повернул выключатель.

В конце зала засмеялись:

— Брось дурить, не время! Зажигай, зажигай!

Поддерживая отдельные веселые голоса, я сложил ладони рупором и громко заорал в темноту:

— Черти! Свет тушить не позволено!

# x x x #

Удивил меня сегодня Тит Ливии!

Дьякона я знаю давно. Хороший человек. Честное слово, хороший человек, но зато какой скверный работник! Двух мнений здесь быть не может. Хороший человек и скверный дьякон. Я загораюсь над кассой, я влюбляюсь в набираемый мною текст, по совести сказать, часто очень глупый. Сознаюсь: даже разбирая набранный текст, я радуюсь за людей, которые не прочтут очередной ерунды. А дьякон холоден. Он с неудовольствием приходит в церковь, жестоко и расчетливо материт в алтаре обсчитывающего его священника — я сам был этому свидетелем — и успокаивает



себя водкой, налитой в красивую розовую лампадку.

Мы познакомились друг с другом, подравшись. Лет двадцать назад жена моя Анна Николаевна — господи, опять она попала на мой язык! — позвала в наш подвал, — нет, какой же это подвал, — это освященный тридцатилетней теплой и сытной жизнью "наш дом", — священника отслужить молебен. Предлогом послужила пасха, а на самом деле сердце ее дрожало в умилении перед новым, исцарапанным прежними владельцами гардеробом. Не особенно люблю длинные волосы — они свидетельство нечистоплотности, но я предпочитаю нюхать ладан, чем подвергаться жениным попрекам.

Хорошо. Тебе нравится прошибать лбом стену — прошибай, я же буду бриться. И вот не в меру торжественный — я готов был отдать на отсечение левую руку — как же, так я ее и дал! — что он без году неделя как выскочил из семинарии, — торжественный и щупленький попик вздумал делать мне выговор. Ах, выговор? Убирайся в таком случае вон! Тогда заорала жена. В спор вмешался стоявший на пороге дьякон. Слона — то я и не заметил. А слон решительно вступился за погранное православие. Праз! — я беру попика за шиворот и легким движением выталкиваю его вон. Два! — дьякон преподносит мне такую оплеушину, что я, невзвидев света и мало что соображая, хватаю полоскательницу, наполненную взбитой, как сливки, мыльной пеной и вклепываю это кушанье ему в рожу. Дьякон оказался сильнее меня, хотя я мог бы по своей задирчивости полезть и на Геркулеса. Противное воспоминание! Второй раз в жизни мне ничего подобного не пришлось испытать. Этот мрачный дьякон повалил меня и нахально втиснул в мой рот мое праздничное земляничное мыло, приговаривая: "Ты хотел меня намылить, сукин сын? Намылить? За это ты слопаешь свое мыло". Я не слопал его только потому, что подавился.

Потом дьякон оправил рясу, повернулся к Анне Николаевне и деловито прогудел:

— Давай, мамаша, полтинник и оставайся с богом.

— За — без молебна? — закричала, подбочениваясь, моя половина. — Не дам. Отслужи свое — и получишь. А на драки я и бесплатно у казенки нагляжусь.

Дьякон подумал и махнул рукой:

— Ну и шут с тобой!

Он оказался тут как тут. Оскорбленный попик успел сбегать за "фараоном". Они вернулись вдвоем — религия и полиция — составить протокол. Здесь пахло золотом. Но — как я тогда удивился! — меня выручил дьякон.

— Никакого богохульства, — внушительно бурчал он перед "фараоном". — Батюшке захотелось на двор. А уже зачем он из отхожего места побежал за скорой помощью — не понимаю. Не ведаю. Разве перетерпел? — такой догадкой закончил дьякон мое оправдание.

— Отец дьякон, что с вами? Сколько они вам заплатили? — заверещал удивленный священник.

Однако игра была проиграна. Я сунул приготовленный женой для священника полтинник "фараону" "за беспокойство", и все трое — зудящий комаром священник, успокоившийся городской и мрачный дьякон — степенно удалились из "нашего дома".

Второй раз я встретил дьякона в портерной. Он был в штатском и играл на бильярде. Столкнувшись со мной нос к носу, дьякон отозвал меня в угол и попросил его не выдавать. Я не имел права отказать ему в этом, наоборот, обязан был угостить его пивом. Мы разговорились, и с тех пор из недели в неделю каждое воскресенье встречались с ним по вечерам за мраморным, залитым желтой влагою столиком.

Он оказался хорошим человеком. Задушевные разговоры сблизили нас. Иногда я захватывал для него из типографии какой-нибудь журнал. В свою очередь, он сообщал мне десятки всевозможных историй. И, ей-ей, среди них попадались неплохие.

В дни войны портерную превратили в чайную. Мы повстречались с дьяконом за чайником, в чайнике подавалась водка. Только первые годы революции разлучили нас, и было бы неверно, если бы я сказал, что мы не скучали друг без друга. Адрес дьякона мне был неизвестен, да и он не знал, где живу я, — мы как-то не удосужились поделиться этими сведениями. И вот в двадцать первом году, проходя мимо дома, где когда-то помещалась портерная, я увидел над входом вывеску "Кооперативная столовая". Воспоминания толкнули меня зайти туда, хоть я спешил домой обедать, и за ближайшим же столиком встретил моего дьякона. Он был все таким же здоровым и мрачным человеком. Мы пожали друг другу руки и как ни в чем не бывало повели, казалось, только что прерванный разговор о пройдохах архиереев, вконец ошельмовавших православную церковь, и о том, как мало хороших и интересных книг стало выходить в наши дни. Потом столовая снова превратилась в пивную, снова защелкали бильярдные шары, и длинные усы красных раков укоризненно задрожали в наших руках. Снова каждое воскресенье мы встречались с дьяконом и вели задушевные разговоры, благо жизнь каждого текла в разных руслах.

И вот сегодня мой добрый Тит Ливии поразил меня необычайным сумасбродством.

Он поднялся передо мной и холодно заявил:

— С сегодняшнего дня я не Левий. Попрошу вас больше не называть меня сим ужасным, неприлично звучащим именем.

Действительно, в первые дни нашего знакомства я часто забывал это редко встречающееся имя. Но потом привык, и в моем поминальнике оно прочно заняло свое место. Тит я прибавил к нему впоследствии. Набирая однажды книгу, рассказывавшую о Древнем Риме, я наткнулся на Тита Ливия. Вот оно и попало мне второй

раз. А с именем Тит у меня связывалось представление о человеке ленивом, тяжелом и мрачном. До известной степени дьякон обладал всеми этими качествами. Ну, я и прибавил к первому своему Левию встретившегося Тита. Дьякон принял это без возражений, и с тех пор я называл его Титом Ливием, думая, что пройдет немного времени, и дьякон станет такой же нереальной фигурой, как существовавший когда-то римлянин. Да, дьякон, твоя профессия, твое имя скоро перестанут существовать! Так думал я, и вот он сам поспешил предупредить историю, поспешил и подтвердить и опровергнуть мои мысли.

— Меня зовут Иван, — сказал дьякон и опустился на свой стул.

— Дьякон! Тит Ливии! Ты сошел с ума! — вскричал я, не веря своим ушам.

— Меня зовут Иван, — вразумительно повторил дьякон.

— Голубчик, но ведь ты же Левий. Ты можешь всю жизнь проклинать своих родителей, но при крещении назван ты был все — таки Ливием.

— Ты глуп и недогадлив, — сердито крикнул дьякон. — И вообще, оставь в покое моих родителей, — нечего проклинать гнилые косточки. Я обратился в загс, и вот сегодня...

Дьякон полез в карман, достал кошелек и извлек из него свежую бумажку.

Да, там действительно было написано, что согласно ходатайству гражданина Левия Дмитриевича Успенского он в будущем имеет право именоваться Иваном Дмитриевич Успенским.

— И поэтому я тебе не Тит и не Ливии, а Иван Дмитриевич, — с явным удовольствием еще раз повторил дьякон.

И все же я остался при своем мнении. Тит Ливии начал сходить с ума. В пятьдесят лет переменить имя! Чем оно ему помешало на шестом десятке? Он одурел или за этим что-то кроется?

Мы простились: он с затаенным торжеством, я удивленный и сомневающийся. Но, придя домой, я не мог не потешиться над своею Анной Николаевной.

— Скажи — ка, старуха, — спросил я ее, — что бы ты сказала, если бы я переменял свое имя?

Ох, какой она подняла крик!

Она сразу собралась со мной разводиться, она не могла простить мне измены своему ангелу — хранителю, она категорически утверждала, что я продался антихристу и что незамедлительно по перемене имени на моем лбу появится каинова печать.

# x x x #

День защебетал двумя голосами. Прозрачный воздух снисходительно поднимал голоса вверх, дождем разноцветных слов бросал их на мою голову, и раковины моих ушей возбужденно розовели, стараясь не пропустить ни одного звука. Граница — окно. За форточкой невидимая пичужка весело свистела, на мгновение останавливалась и еще занятнее продолжала умильную песню, возможно, это был воробей. В комнате скрипучим и надоевшим мне голосом Анна Николаевна метала бисер перед свиньей — свиньей был я. Вина же моя была невелика — я собирался за город.

Наши безусые горлопаны устраивали сегодня прогулку. Стариков они не приглашали, желая веселиться шумно и бестолково. Я занимаю особое положение. После моих воспоминаний молодежь начала питать ко мне нежность: со мною разговаривали мягче, стали звать просто Петровичем и поминутно бегать ко мне за советами. Неправда, что молодежь не любит стариков: наоборот, наши бойкие дети всегда не прочь посоветоваться с нами. Мы сами не умеем приветливо встретить бегущего к нам навстречу горланящего, топчущего сапогами парня, мы начинаем недовольно брюзжать: "Да тише ты, ради бога!"

Мне надоело ходить стариком: ко мне подбегали с криком, я встречал налетчиков еще громче.

— Петрович, стой! Метранпаж наш... За заметку в стенгазете Кольку по морде. Матерится, мы ему полосу рассыпали! — орал, подбегая ко мне, Гараська.

— Ах ты, такой — сякой! — еще громче кричал я. — Лучше дать сдачи, а набор рассыпать не след.

— Вот сволочи, Петрович! — истошно вопил Архипка, появляясь в дверях. — По случаю принятия в комсомол ребят угостить надо, а контора обсчитала!

— Язви их душу! — перекрикивал я Архипку. — Тебя обсчитаешь! Вечорки устраиваешь? После вечорок прогуливаешь? А чуть вычет, язви твою душу, лаешься?

Покричишь этак маленечко с каждым, смотришь, ребята тебя и послушались.

Вчера ко мне явилась делегация. Трое наших головорезов — Архипка обязательно, Гараська обязательно и Женя Жилина — пригласили меня участвовать в экскурсии. От таких приглашений не отказываются. Повеселиться с молодежью — да ради этого можно презреть все давно опостылевшие дела!

Встав утром раньше раннего, я решил ехать на прогулку писаным красавцем. Слазил в сундук, достал рубашку с отложным воротничком и долго — минуты две, пожалуй, — выбирал галстук. У меня их два — серенький с желтыми полосками и голубой, покрытый крупными белыми горошинами. Голубой нарядней, — я остановился на нем, завязал, стал зашнуровывать ботинки и разбудил чутко спящую старуху.

- Куда?
- Гулять.
- С кем?
- С барышнями.
- Зачем?
- Разводиться хочу.

После такого ответа пошла катавасия. Старуха, конечно, мне не поверила, но спустила на пол сухие костлявые ноги, зашлепала к открытому сундуку, изругала меня за измятое белье и начала честить ласковыми словами.

Ко мне на помощь подоспела выручка. В форточку втиснулась голова Гараськи. Пониже виднелись рыжие краги Архипки.

- Владимир Петрович, пора! — позвал меня Гараська.
- Готов, готов, — сказал я, поспешно нахлобучивая кепку.
- Когда в дом приходят, здороваются, — язвительно заметила Анна Николаевна.

— А в дом никто и не пришел, — задорно отозвался Гараська, намереваясь начать перебранку, но, заметив мое морганье, поспешно скрылся.

- Пошел, — попрощался я с женой.
- Распутник ты, распутник! — послала она мне вдогонку.
- Почтение приятелям! — поздоровался я с Архипкой и Гараськой, и мы дружно зашагали к трамвайной остановке.

Шагов на сто отошли мы от дома, как вдруг я услышал пронзительный и неприятный крик:

— Владимир Петрович, остановись! Да стой же ты, греховодник!

Вслед за мною семенила мелкими шажками Анна Николаевна.

"Так и есть, — подумал я, — она намерена прогуляться вместе со мною".

Сердце сжалось, предвкушая испорченную прогулку.

Но старуха меня пощадила. Она только подбежала и сунула мне в руки огромный сверток, перевязанный несколькими бечевками.

— Возьмешь — позавтракаешь, — недовольно буркнула она, поворачиваясь ко мне спиной.

# x x x #

Лодка лениво скользила по мутной поверхности воды. Зелень украшала берега приятными пейзажами.

Пока наши ребята спорили на станции, пока все участники прогулки собрались, пока купили билеты, время неуклонно шло вперед. Часовые стрелки встали вровень, когда мы уселись в вагон.

Среди горлающих, смешливых и любопытных глаз только одни

прятались под навесом седых бровей.

Ребята старались не подчеркивать оказанной мне чести, изгоняя из моей памяти впечатление об их дружеском и нежном предложении множеством мелких любезностей и забот. Так человек, сделав другу ценный и нужный подарок, беспричинно смущается и начинает задаривать друга многими мелкими и ненужными безделушками.

Балагурия друг с другом, мы незаметно доехали до Царицына, высыпали на платформу, переждали, пока дачная публика не схлынула через виадук к щербатым дачам, и заторопились в парк, к воде — на лодки и на лужайки.

Нас было не меньше шестидесяти, молодых и бодрых любителей реки и леса, и мы быстро разделились на две группы. Я пошел с лодочниками.

Лодка лениво скользила по мутной поверхности воды.

Нас прогнал дождь — частый, смешной, лившийся при солнце и никого не испугавший.

Мы приналегли на весла, повернулись и напрямик понеслись к дощатой пристани с желтенькой будочкой и неверными часами. По нашему расчету, мы катались около двух часов, по расчету курносых парней, распорядившихся лодками, выходило три часа. Мы спорили, спорили безуспешно, — курносые парни отдали оставленные в залог документы, только полностью получив плату за насчитанное ими время.

Перед дворцом мы встретились с оставшейся на берегу компанией и все вместе пошли осматривать здание.

Кому нужно лишнее доказательство негодности царей? Никому оно не нужно. Все — таки, взглянув на царицынский дворец, бесцельно воскликнешь: "Как хорошо, что царей больше нет! Они были плохими хозяевами. Дать им похозяйствовать еще — увеличилось бы только количество недостроенных дворцов". Кроме того, я думал еще о другом: почему пропадает такое здание? Какая куча бесцельно сложенного кирпича!

Дворец мне не понравился: слишком мало света — узкие оконца не пропускают внутрь редких, пробивающихся сквозь густую листву парка упрямых лучей солнца, неравномерна высота комнат — низкие потолки нижнего этажа лишали бы дворников и поваров воздуха, плохо использована площадь — на месте, занятом длинной дворцовой подковой, можно было бы выстроить гораздо большее здание.

Дворец мне понравился: стены, стены — то каковы! Какая кладка! Такой мощности и силы нельзя встретить в нынешних тонкостенных домах, на третьем этаже в клозет идут, а в первом из — за этого обедать не садятся, а за дворцовой стеной хоть человека режь — не услышишь. Крепко поставлено — почти полтора века высятся беспризорные стены, и ничего с ним не делается. Если бы

так строили нынешние дома!

Потом мы играли в городки внизу, на лужайке у пруда, и я с Архипкой — мы играли в разных партиях — поочередно возили друг друга на закорках.

— Эй, эй! — покрикивал я на пыхтевшего подо мной Архипку. — Так я тебе и позволю надо мной смеяться! Изволь — ка теперь покатай и меня. Н — но!..

Архипка бежал изо всей мочи, пересек лужайку и, уже приблизившись к самым кустам, споткнулся — под ногу ему подвернулся незаметный, но ехидный сучок. Мы оба трахнулись на землю, и я, перелетев через голову Архипки, благополучно растянулся на низкорослых кустах.

Поднимаю голову, оглядываюсь: прямо передо мной четверо наших из печатного отделения — Снегирев, Качурин, Уткин и Нестеренко. Сидят голубчики по — восточному — ноги под себя поджав, перед ними газета расстелена, на газете нарезанная ломтями колбаса, сыр, хлеб и две бутылки очищенной.

— Владимир Петрович, и вы сюда? — запинаясь, спрашивает Уткин.

Нестеренко же перемигнулся с ребятами, пододвинулся и пригласил:

— Милости прошу к нашему шалашу!

— Спасибо! — приветливо отозвался я, потирая ушибленное плечо.

— На аэроплане летал? — хитро спросил Уткин.

— На каком аэроплане? — не понял я уткинской насмешки.

— Значит, по деревьям лазил? — повторил вопрос Уткин.

— Эге, тебя, оказывается, интересует способ моего прибытия?

— ответил я. — Так я прибыл много проще, — ехал верхом, ну и... свалился.

— Как верхом? — опешил, в свою очередь, Уткин.

Тем временем Снегирев успел и сыр нарезать.

— Дернем по маленькой? — обратился он к нам, ласково похлопывая ладонью в дно бутылки.

— Наливай, наливай! — мрачно поддакнул Качурин.

— Хорошее дело, — согласился я, собираясь перехитрить угощавших меня молодцов. — Выпить хорошо, — начал я свой маневр издали, — одна только для меня неприятность...

— А что? — участливо спросил Нестеренко.

— Не хочется мне на ваши деньги пить, — недовольно пробурчал я.

— Пустое! — любезно возразил Качурин.

— Где тут пустое? — не сдавался я. — Я зарабатываю много, а из вас каждый и до сотни не дотягивает — не пригоже мне за ваш счет угощаться...

— В другой раз угощенье за тобой будет, — поддакнул

Качурин.

— Зачем в другой раз? — с упрямством заявил я опять. — Можно и в этот... Вот что, ребята: сегодня я угощаю вас, а не вы меня... Покупаю у вас обе бутылки и угощаю.

— Чего там комедию ломать! — нетерпеливо прервал меня Нестеренко.

— В таком случае я на вас в обиде, — недовольно сказал я, поднимаясь с земли.

— Ну что ты, что ты! — остановил меня Уткин.

— Мы с тобой ссориться не хотим, — примирительно заговорил Качурин. — Если уж тебе так хочется, покупай.

Пару минут ребята продолжали свои уговоры, но, встретив мое непреодолимое упорство, согласились продать водку, в глубине своих душ ничего не имея против дарового угощения.

Я достал кошелек, вынул два рубля семьдесят четыре копейки. Ребята тут же разделили деньги между собой — видно, водку покупали в складчину. Я взял в каждую руку по бутылке и еще раз спросил:

— Значит, теперь это вино мое, и я ему полный хозяин? За посуду вам заплачено, и посуда тоже моя. Волен я с ней делать, что угодно?

— Расчетливый старик! — засмеялся Уткин. — Небось посуду домой старухе свезешь. Все три гривенника в хозяйство.

— Ладно, — нетерпеливо отозвался я, стоя перед ребятами и покачивая крепко сжатыми в руках бутылками. — Вино и посуда мои? Я им полный хозяин?

— Твои, твои, — нетерпеливо повторил Нестеренко. — Чего говорить — принимайся за дело!

— Можно и за дело, только как бы оно кого не задело, — воскликнул я, поворачиваясь к ребятам спиной, перескакивая через куст и убегая вниз по бугру.

— Куда ты? — услышал я за своей спиной растерянный голос Качурина.

— Да догоняй же его, ребята! — донесся до меня перекрикнувший все другие звуки голос Уткина.

За моей спиной послышался тяжелый топот — ребята пытались догнать старика Морозова.

"Так я им и дался", — подумал я и еще прытче побежал под гору.

Внизу поблескивал невозмутимый пруд.

Я согласен был скорее расшибиться в доску, чем попасться в руки гнавшейся за мною четверки.

До пруда оставалось всего сажений двадцать, когда за моей спиной послышался прерывающийся хриплый голос Уткина.

— Черт старый, не уйдешь! — бормотал мальчишка.

"Неужели старик Морозов уступит этим сопливым



пьянчужкам?" — мелькнуло у меня в голове.

Я напруг последние силы, стремительно пробежал еще несколько сажень, остановился, взмахнул рукой. Хлюп! — и одна бутылка нырнула в воду в нескольких шагах от берега. Я еще побежал вперед, на бегу перехватил вторую бутылку из левой руки в правую, остановился, опять взмахнул рукой, и вторая бутылка врезалась в воду на самой середине пруда.

Ожидая скандала, я спокойно повернулся к обманутым в своих ожиданиях и догонявшим меня мальчишкам. Но навстречу ко мне бежала добрая смеющаяся молодежь — среди нее были и наша комсомолочка Настя Краснова, и фальцовщица Голосовская, и Архипка...

— Ура!.. — воскликнула Голосовская, взмахивая руками, похожая на вспугнутую, неумело и бессильно трепыхающую крыльями курицу.

— Молодчина, Морозов! — вторила ей слабым, но бодрым голосом Настя.

Они все подлетели ко мне, схватили за ноги, подняли, подбросили и начали качать на руках.

Наконец я не выдержал и гневно и нежно завопил:

— Олухи вы этакие! Опустите вы меня или нет?

Тогда смешливая компания сжалилась и выпустила меня из своих рук.

Я повел плечами, готов был даже отряхнуться вроде насильно выкупанной собаки и обратился к Насте с вопросом:

— Настенька, голубушка, сделай милость, скажи: за что вы меня качали?

— Чудак, за руку же, за руку! — ласково объяснила она.

— Не понимаю, — ответил я, недоумевающе покачивая головой. — Качали вы меня не только за руку, но и за голову и за живот... Причина — то какова?

— Так ведь вы же, Владимир Петрович, — вмешался в разговор Архипка, — из всей нашей молодежи самым лучшим метальщиком оказались.

— За то, что в молодежь зачислили, — спасибо, но о каком метальщике речь идет — не пойму, — продолжал я недоумевать.

Вся компания наперебой принялась объяснять мне причину своего ликования.

Настя Краснова нагружена комсомольской ячейкой по военной линии. При отъезде в корзине с продовольствием она захватила несколько ручных гранат — деревянных — на вольном воздухе поупражняться в метании.

И пока ребята внизу у пруда по всем правилам разбегались, взмахивая руками, и кидали полированные деревяшки и особых успехов никто не показал — наверху показался седой Морозов, стремительно бежавший с найденными в лесу бутылками. "Петрович

наблюдал сверху за нашими упражнениями, не выдержал и захотел показать свое искусство", — решила молодежь. Как раз в это время я кубарем скатился вниз и геройски закинул бутылки в пруд. Бросил я бутылки, должно быть, действительно хорошо, почему и вызвал всеобщее одобрение новому, внезапно открывшемуся во мне таланту.

Я не стал скромничать. Похвала приятна всегда, и мне не стоило большого труда отечески потрепать по плечу Настю и покровительственно заметить:

— То — то и оно — то — учитесь у стариков.

Возвращались мы поздно.

Приятен глазу новый, только что привезенный в типографию шрифт; особенно ярко поблескивают свежие, нечаянно рассыпанные буквы на мрачном и знакомом полу, — так блестели звезды. Приятна разгоряченному человеку сильная струя воздуха, бьющая из жужжащего вентилятора, — в этот вечер слабый ветерок дул приятнее.

На платформе девчата скучно затягивали песни, сонно мигали глазами, и только показавшийся вдалеке красный фонарь, с гневным грохотом летевший наперерез ночи, оживил наше внимание.

В вагоне ко мне подошел Уткин и сердито зашептал:

— Ты, сволочь, попомнишь!

— А вам надо было напиться и хулиганством прогулку испортить? — сказал я сердито и спокойно. — Я, малый, сам выпить не дурак, но всему свое место.

Уткин поднес к моему лицу кулак и буркнул:

— А водку зачем украл?

— За водку вам было заплачено, а шутить со мной брось, — спокойно закончил я разговор, резким движением отвел в сторону уткинскую руку и отошел прочь.

На вокзале в Москве все разрознились, перемешались с толпой и, не прощаясь, разбрелись по домам.

У выхода на площадь под большими матовыми и неустанно светящимися часами меня догнала Настя. Она посмотрела на меня утомленными глазами, поправила на голове красную косынку, протянула руку и спросила:

— В следующее воскресенье поедешь?

Я слабо потряс нежные девичьи пальцы и, довольный, ласково произнес:

— Ну конечно, Настенька.

# x x x #

Неправильная работа и неправильная жизнь.

Если бы у нас заботились о станках, заботились бы и о людях. Теперь же одно к одному.

Лиза Стрелкова встала у реала недавно, работает ни шатко ни валко, однако успевает лучше многих мужчин.

Обволакивающий окружность типографский гул незаметно скрадывал все посторонние звуки, и все — таки монотонный осенний дождик бился об оконное стекло, как оса, и дребезжал в наборной.

Было скучно. Да, у нас так налажено дело, что мы, работая, можем скучать, веселиться, плакаться на жизненные тяготы и радоваться случайным успехам. Работа спорилась плохо.

Нас развлекал Чебышев — тискальщик, работавший в нашей типографии с незапамятных времен и не мечтавший о лучшей работе.

Утро только что началось. Ни гранок, ни досок к Чебышеву еще не успели подтащить, и, упершись локтями в стол, рассказывал он всему наборному цеху о Лизе Стрелковой:

— ...И, голубчики вы мои, ни фаты венчальной, ни свечей золоченых не признают нынче девушки, и юноши тоже не признают. А не признают они потому, что пошел нынче народ несерьезный. Каждый норовит, дело свое справив, фигли — мигли, тренти — терентий...

Чебышев прервал свой рассказ, соединил над головой руки замысловатым полукругом и загадочно задрюгал пальцами — пальцы должны были объяснить нам значение таинственных "фиглей — миглей".

— И живут юноши и девушки по законам не божеским, а человеческим. А известно: сколько кобелей, столько и заповедей, какой закон люб — такой и выберу. И дошла зараза беспременная и до нашей девушки, до нашей товарки Елизаветы Константиновны. Не знали, не гадали Лизины родители, что она их примеру не последует и вокруг аналоя ходить не захочет. Да и как же родителям Лизиным в могиле спокойно лежать, когда видят они, какая дочь о них незаботливая. Да ежели бы они живы были, так родителей каждое дитя в почете содержать обязано, обеспечить под старость уважением и чаем с вареньем смородиновым, а оно возьми да выскочи в замужество не за человека степенного, деньгой располагающего, а за юношу с легкомыслием, заработка имеющего меньше жениного. Где такие законы слыханы, где такие обычаи виданы, чтоб жена больше мужа зарабатывала? Ну какое в ней будет уважение к своему голове и хозяину?

Свой рассказ Чебышев мог вести до бесконечности. Он увлекся, тонкий, но слышный голос его то стихал, то возвышался, и по какому угодно поводу мог он говорить час, два, три, пока к нему не подходил метранпаж, не брал его за плечи и не кричал в самое ухо: "Тискай, мать твою!.." Чебышев не мог сразу остановить разбежавшийся язык и выпаливал еще несколько фраз. Но нельзя было думать, что он слишком увлекался рассказываньем. Стоило ему заметить лицо, о котором шла речь, — на этот счет он был очень

зорок, — как Чебышев немедленно смолк и суетливо поворачивался к станку.

Он и сейчас внезапно смолк, быстро повернулся к столу и нагнулся, точно рассматривал только что оттиснутую полосу.

По движению Чебышева наборщики поняли, что пришла Стрелкова.

Лиза кивнула нам головой и торопливо пошла к своему месту.

Кто наборщиком не бывал, тот звона не слышал, — такую поговорку можно прибавить к старой — о море и страхе. Отзвонил звонарь в урочное время службу — и с колокольни долой, да и колокольные звуки все наперечет известны. В наборном звонят все, кому не лень, и звонят без устатка целый день, а про ночь не стоит и говорить...

По наборной пронесся одобрителный гул:

— Пришла...

— Не опоздала...

— Удивительно — таки...

— Ну как, Лизочка? — обратился к ней Колька Комаров. — Муж не задерживал?

— Тяжело поди, — отозвался Андриевич. — Двойная работа: и днем и ночью...

— Про ночь не говори, — вторит Мишка Якушин, — в ночную смену она по своей охоте пошла...

Лиза ниже наклоняется над кассой, стараясь не замечать веселых выкриков.

— Ну, Лиза, как? — опять кричит Комаров.

— Хорошо было? — доканчивает Якушин.

Розовая краска заливает Лизино лицо. Выбившаяся из — под платка прядь русых пушистых волос раздражает Лизу, но она боится поднять руку и поправить волосы: каждое движение привлечет лишнее внимание.

Молчание Лизы надоедает ребятам. Становится скучно. Некоторое время работают молча. Работы мало. Борохович начинает подзуживать Жаренова.

Он бросает работу, подходит к Жаренову, похлопывает его по плечу и спрашивает:

— Что ж, брательник, вчера на работу не вышел? Аль голова болела?

— И то болела, — удивленно соглашается Жаренов.

— Небось после полочки погулял? — с оттенком зависти спрашивает Борохович.

— Как тебе сказать... — мнетя Жаренов. — Погулять погулял, да вот жена только...

— Денег домой не донес? — насмешливо замечает Андриевич.

— Почти что не донес, — уныло соглашается Жаренов.

— Расскажи лучше, как погулять успел! — пристаёт к нему

Комаров.

— "Как, как", — сумрачно передразнивает Жаренов. — Обыкновенно. Выпил. На Тверской бабу взял. И потом опять выпил. Выпил здорово.

— Выпил, выпил... Скучота! — презрительно отзывается Комаров.

— У него всегда так: ни выпить весело, ни с девчонками интересно время провести, — сухо отзывается Борохович, хитро подмигивая Комарову, — он вызывает Жаренова на откровенность.

Жаренов сердито мотает, как опившаяся лошадь, головой.

— Это я—то неинтересно провожу время? — бормочет он, сердито поглядывая на соседей. — Я бы вам рассказал... Я бы рассказал... Вот баба только здесь...

— Чепуха! — отзывается Андриевич. — Лиза отвернется...

— Нечего отвертываться, — вставляет свое замечание Комаров. — Она ученая стала...

— Не про Лизу разговор, — говорит Борохович. — Жаренову рассказать нечего.

— Жаренову рассказать нечего? — бормочет Жаренов. — Как бы не так! Вы только послушайте, что со мной было. Выхожу я из пивной и...

— Беру на Тверской бабу, — досказывает Комаров.

— Не мешай, а то говорить не буду, — останавливает его Жаренов. — Я про второй раз рассказываю. Выхожу я из пивной, иду вниз по улице, а навстречу мне две девочки. Не какие—нибудь там гулящие, а просто всамделишные девочки — дети совсем. Взглянули на меня и просят гривенник на хлеб. Приехали они в Москву работу искать, проходили весь день, а есть нечего... Жаренов — человек добрый. Купил им булку. Съели. Купил я им еще по яйцу. Не знаю, как скорлупа уцелела. Яйца разом слопали. Жалко мне их стало. Выразить трудно, как жалко. Подумал я, подумал, что они голодные будут в Москве делать, пожалел и предложил им три рубля заработать. Уговорил. Ушли в укромное место. Расположились. Девочки по очереди дежурили.

Ребята столпились вокруг громко рассказывавшего Жаренова.

— У меня слезы текли, когда я это делал с ними, — говорил Жаренов своим слушателям. — Жаль мне было девочек, очень были молоды... Прямо дети...

Никто не заметил, как Лиза Стрелкова бросила свою работу и подошла к слушателям.

Тем неожиданнее раздался ее голос.

— Идем! — крикнула Лиза. — Это тебе так не пройдет! Идем в завком, говорят тебе!

Лизин голос прерывался, губы дрожали.

Я подошел к Климову и сконфуженно прошептал:

— Как же мы не обращали внимания на эту дрянь? Бабы нас с

тобой учить начали.

Мы с Климовым оставили работу и вмешались в общую группу.

Жаренов нагло засунул руки в карманы и нахально спросил:

— Извиняюсь, Елизавета Константиновна, вы, кажется, географию правили?

— Дальше что? — взволнованно отозвалась Лиза.

— Так вот, вы вместо меня лучше с мужем про Европу толкуйте...

— И про И-талию, — вставил Комаров.

— Лучше про полушария, — прибавил Борохович.

Лиза отшатнулась, покраснела и растерянно отошла.

Нет, я сразу видел, что не бабье дело мерзавцев учить. И при чем тут завком?

Я отодвинул плечом стоявшего передо мной Андриевича, размахнулся и изо всех сил хряснул Жаренова по лицу кулаком.

Он упал на пол, но тотчас вскочил и бросился на меня.

Окружавшие нас ребята подались в стороны.

Тогда я схватил его за ворот, откачнул от себя, пригнул его голову к каске и начал бить по его противной роже.

Честное слово, я не жалел, что избил Жаренова, хотя он даже не смог выйти на своих ногах из наборной. Но после обеда на стене появился приказ, подписанный товарищем Клевцовым. Мне объявлялся выговор за хулиганскую выходку на производстве.

Я с этим был не согласен и напрямик отправился в директорский кабинет.

— Садись, садись, Владимир Петрович, — любезно встретил меня директор. — Нехорошо, брат, на старости лет бедокурить.

— А хорошо, товарищ Клевцов, человеку свиньей быть? — спросил я директора.

— Так ведь это же к производству отношения не имеет, — опять укоризненно заметил Клевцов.

— Ах, так! — сказал я ему. — Бабу травят, бабу лупят, но это к производству отношения не имеет? А вот, например, Степанов выполняет у нас работу простой сортировщицы, которая оплачивается по девятому разряду, но получает как помощник мастера, а сортировщицы Берзина и Рытова несут обязанности контроля, но одиннадцатого разряда никто им дать не подумает. Это, конечно, товарищ Клевцов, отношения к производству не имеет. Нормировщица Кочерыгина наработала семь тысяч браку, ну и вычтем убыток из ее заработка. А что же, спрашивается, делали в это время мастер с помощником? Извольте ли видеть, они занимались срочной политдискуссией. Опять виновата баба. Прекрасно, товарищ Клевцов, вы мне объявляете выговор, а я схожу в одно учреждение побеседовать по этому делу.

Директор выслушал меня, не прерывая. Когда я кончил, он протянул мне руку и произнес:

— Нечего огород городить. Выговор сейчас снимут, и, пожалуйста, не бузи.

В коридоре я встретил бежавшую к выходу Стрелкову.

— К мужу спешишь? Ну, беги, беги, — ласково заметил я ей вслед.

— А ну тебя к свиньям, зубоскал! — сердито огрызнулась Лиза.

— Вот тебе и на! — ухмыльнулся я, разводя руками. — За вас же, баб, заступался...

# x x x #

Пришла Валентина.

Она молча поднесла к моим глазам раскрытую тетрадь. Под последней строкой сочинения красным карандашом наискось была выведена аккуратная отметка: "Написано хорошо, но смелость суждений обнаруживает непонимание Тургенева и любовь к рассуждениям о непонятном для вас вообще".

"Написано хорошо" — хорошо. Тургенев непонятен — ладно, с этим я помирюсь. Но написать, что я люблю рассуждать о непонятном, — слуга покорный! Да нет! Неужели я рассуждаю о том, чего не понимаю? Какая неприятность! Или... Моя догадка верна.

Я достал кошелек, вынул из него полтинник и подал дочери.

— На, купи себе леденцов, — сказал я Валентине. — Написано хорошо — радуйся. А насчет непонятности не беспокойся, этот учитель никогда не поймет меня, так же как и я никогда не пойму его.

# x x x #

В клуб мы пришли втроем — я, Анна Николаевна и Валентина.

Посмотреть любопытно — к нам приехала настоящая опера.

Представляли актеры неплохо: пели, плавно разводили руками и любезно раскланивались в ответ на наши хлопки. Хлопали мы не хуже, чем они пели.

Нахлопавшись, мы собрались расходиться.

Анне Николаевне не терпелось попасть домой. Она беспокоилась за целостность своих сундуков, редко, очень редко она оставляла квартиру на замке. Валентина крепилась, говорила, что могла бы прослушать всю оперу еще раз, но только хвалилась: уже в конце представления девчонка клевала носом — ей хотелось спать. Про меня и говорить нечего, я привык ложиться рано.

Мы проталкивались к выходу. Но тут ко мне подбегает Петька

Ермаков и шепчет:

— Владимир Петрович, случилось несчастье. Нельзя ли вас попросить в уголок?

— Какой тебе уголок? — говорю я ему. — Пьян ты, что ли?

— На самом деле несчастье, — снова говорит он. — Мы с вами посоветоваться хотим.

Вижу: у ребят действительно что — то случилось.

— Иди — ка ты, Анна Николаевна, с Валентиной домой, — проводил я жену, — мне задержаться придется.

— В чем дело? — сердито буркнул я, возвратившись к Ермакову.

— Несчастье, Владимир Петрович, абсолютное несчастье! Увлеклись все у нас представлением, да и проморгали актерскую одежду... Кольке Кузьмичеву и Лешке Струкову велено было в уборной сидеть, а они, конечно, тоже на сцену явились и, дырочку в холсте провертев, пение слушали. Вы понимаете, все до ниточки унесли, даже пару лишних париков захватили. Актеры, понятно, волнуются. Даже не волнуются, а сердятся. Совсем не знаем, как нам поступить...

Рассказывает Ермаков, а у самого глаза влажными стали — волнуется.

Вот тебе и опера!

— Главное сейчас, — говорит парень, — актеров успокоить.

Взобрались мы на сцену, прошли в уборную. Ребята наши кислые и мрачные в углу столпились и с милиционером разговор ведут. Актеры в боярских костюмах из ситчика по комнате вдоль да поперек бегают. Только изредка тяжелое молчание нарушала толстая красивая артистка, взвизгивая:

— Ужас, ужас! Что мне делать без розовой кофточки!

Сговорились мы наконец проводить актеров до ближайших извозчиков. Предлагали сначала им свои костюмы, отказались. Одних пустить нельзя — в окрестности хулиганья много. Да и самим с извозчиками торговаться сподручнее — деньги — то ведь наши.

Странное зрелище можно было наблюдать в то утро.

Посредине улицы недовольно семенили по мостовой испитые бояре и боярыни. Они ни на секунду не прекращали невнятного бормотанья, боярыни взвизгивали, нахохлившиеся по сторонам дома изумленно отражали в мутных подслеповатых стеклах странные пестрые тени. В стороне по тротуару шли мы — молчаливо и сумрачно. Однако изредка кто — нибудь из наших ребят хитро взглядывал на боярынь, ломавших о булыжники каблучки, и неожиданно громко в утренней тишине фыркал. Тогда мы все сердито оборачивались в его сторону и, еле — еле сдерживая собственный смешок, возмущенно шикали.



# x x x #

Как мне тяжело жить! Нет, как мне легко жить! Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Никакие неприятности не обрушиваются, на меня неожиданно. Я ко всему готов. Я ко всему привык. И, право, мне нелегко живется... Много больного, много тяжелого испытал старик Морозов. Ну, да ничего. Все испытал, все принял, все перетерпел. Проще сказать, обтерпелся. Поэтому — то мне и легко жить.

Эх, жизнь, жизнь, подлая ты, старуха! Только и норовишь устраивать людям пакости. И ведь тебя не ударишь, не ответишь тебе чем —нибудь таким, чтобы остановило твой безостановочный бег и заставило оглянуться на содеянное.

Бедный малый! Мне тебя жаль. Но чем я могу тебе помочь?

Вчера меня вызвали с работы. Внизу на лестнице стоял мой сын, мой товарищ Морозов, член правления полиграфического треста, и вместе со мной к нему спускался сверху товарищ Клевцов. Директор обогнал меня, схватил Ивана за руку и долго ее тряс, любезнейше приглашая его подняться к нему в кабинет.

Иван поразил меня своим видом. В нем не было обычной уверенности. Глаза его, растерянно опущенные вниз, хотели спрятать незаметную директору и понятную мне боль.

— Отец, — негромко сказал Иван, — ты мне нужен. Я очень прошу тебя пойти сейчас со мной.

Я видел: моему мальчику очень больно, но моя работа не позволяла поддаваться человеческим слабостям.

— Нет, сынок, — возразил я, делая вид, что не замечаю его состояния. — Я не такой богатый человек, чтобы терять половину рабочего дня... Да и за прогул...

Иван тихо и быстро перебил:

— Не беспокойся. Я заплачу тебе из своих денег.

И заметно было, что он, не почувствовав во мне ответной чуткости, хотел было уйти обратно один.

Но тут еще быстрее вмешался директор.

— Что вы, что вы! Никаких прогулов, никаких вычетов, — сказал он и повернулся к Ивану: — Не беспокойтесь, товарищ Морозов, для вас или с вами я отпущу хоть все наборное отделение. — Потом он повернулся ко мне: — О чем ты разговариваешь, Морозов? Иди и не беспокойся о вычетах.

Выйдя из типографии, мы с сыном долго шли молча, шагая нога в ногу. Он не находил первого слова, и я не хотел ломиться в запертую дверь. Подождите минуту, и дверь обязательно откроется.

Мы шли быстро и внезапно остановились у входа в маленькую, замызганную, дешевую пивную. Не обменявшись ни одним словом, вошли мы в мрачный и пахнущий плесенью зал, молча я показал половому два пальца, молча пригубили мы рыжий, покрытый

немошной бледной пеной напитков.

Иван молчал, но я чувствовал, как внутри его не прекращалось безумное движение путающихся, опрокидывающих друг друга мыслей. И в стремительном разбеге своих мыслей Иван резко посмотрел на меня остановившимися глазами и почти по-детски сказал всего два слова:

— Знаешь, старик?

Старик не знал ничего, но старик слышал тяжелое клокотание — да, черт побери! — своей родной крови.

Я как можно ласковее ответил ему тоже двумя словами:

— Больно, сынок?

Тогда мы снова поднялись, молча я положил на стол деньги, и мой сын увлек меня на свою квартиру.

Дорогой я передумал многое. Растрата? Теперь об этом можно подумать прежде всего. Иван не таков, чтобы совершить растрату. Но если... Нет, я не понадобился бы ему. Я уверен, он сумел бы застрелиться один. Самоубийством кончают дураки или затравленные звери. Я бы не застрелился. Но я бы и никогда не растратил. Мой сын слабее меня, он мог бы застрелиться, но растратить — никогда! Так в чем же дело? Или что-нибудь случилось с ребенком и женой... Или жену его унесла чума?..

В квартире у него было пусто. Нина Борисовна, Лева и прислуга находились на даче. Иван оставался один. Да, он оставался один, и не с кем ему было поделиться своим горем, как только со мной, своим стариком, своим верным и грубым другом.

Войдя в комнату, Иван упал на кровать — не сел, не лег, не опустился, а именно упал. И мой мальчик заплакал. Мой мальчик, мой взрослый мальчик, не умел уже плакать легким, детским, облегчающим душу плачем. Как бы я хотел, чтобы по его щекам потекли крупные поблескивающие слезы, как бы я хотел, чтобы он своими кулачками, своими грязными кулачками растер слезы по щекам, как бы я хотел, чтобы личико его покраснело и сморщилось... Но мало ли чего бы я захотел! Глаза его были сухи, лицо покрыто сероватой бледностью, а сам он молчал, и только прерывистое дыхание колебало его плечи. Мой мальчик был мужчиной. И все — таки — мне ли это не заметить — он плакал.

Иван заговорил. Такой же тяжелой и долгой, как его молчание, была путаная и больная речь.

Я никогда не сумел бы передать сыновний рассказ. Тяжелейшая боль и большая любовь переплетались в нем с вымыслом разгоряченной ревности, оправданной голой, все уничтожающей правдой.

Факты были просты и обыденны. Вернувшись в воскресенье с дачи, всего несколько часов назад расставшись с женой, он собрался написать ей письмо. Юношеская влюбленность давно уже исчезла из их отношений. И вот в этот вечер Иваном снова овладел порыв

величайшей нежности. Будничная занятость отошла в сторону — он хотел ее, любимую, приласкать, отдать ей редкий и замечательный для него порыв. К несчастью, у него вышли все конверты, он полез в бюро жены достать один из ее голубых, узких, заграничных конвертов. Она не любила, когда Иван пользовался ее вещами. Он даже предпочел бы сходить на улицу купить конверт в писчебумажном ларьке. Но было поздно...

Открыв ящик бюро, Иван увидел два брошенных поверх чистой бумаги письма, адресованных его жене, исписанных незнакомым, чужим, безусловно чужим, почерком. Иван почти никогда не читал ее писем. На этот раз он взял их только потому, что все время думал о жене и ему захотелось хотя бы посредством этих, вероятно полуделовых, как он полагал, писем слегка приобщиться к ее личной жизни. Одно письмо действительно говорило о каких-то интересных книгах, о театре... В некоторых строчках прорывались нежные нотки, гораздо больше нежности было между строчек, но все письмо носило такой почтительный тон, что Иван даже тщеславно улыбнулся, гордясь верностью жены и завистью того незнакомца мужчины к нему — Ивану, владеющему такой интересной, умной и красивой женщиной. Второе письмо не лицемерило. Второе письмо ясно и просто рассказывало о новом увлечении Нины Борисовны. Нет, не о любви, а об увлечении, только кроватью связывающем людей. Он перечитал письмо еще раз. Он вдумывался в него, искал обмолвок, неясностей... Нет, там было все сказано. Он был цельным человеком, у него в жизни имелись только работа и жена. Работе отдавались сдерживающая жизненную безалаберщину воля, рассудительное и высокое творчество, железное умение приказывать и — он это тоже умел — подчиняться. Единственная в мире партия, никого не щадившая за ошибки, верила Морозову и ценила его. Желе были отданы неизбежные человеческие слабости, вся неизрасходованная нежность цельного рабочего человека, минуты сумеречных человеческих раздумий, все то, что было ему оставлено той, которой он еще с фронта посвятил себя. Это надо понять: партии можно отдать жизнь, — каждый любит свою жизнь, но своему классу жизнь можно отдать даже радостно, — но ведь не побежишь к партии, не крикнешь ей: у меня болит сердце! Не крикнешь ей: грустно моей душе! И вот женщины, выслушивавшей эти крики, — нет, не крики, кричать можно, обращаясь к партии, но не к любимой женщине, ей можно жаловаться в тихие ночные часы под громыханье последних трамваев, — женщины теперь нет.

Нет, не измена жены заставила окаменеть Ивана. Рабочий человек смотрит на это проще: все может случиться, и все можно забыть. Не измена поразила сердце Ивана, а обман.

Мужчина остается мужчиной, оскорбленное мужское самолюбие заставило бы его страдать, но все — таки он не мог бы не

простить ее — все может случиться. Обман не прощается. Иван в ту же нездоровую и нервную ночь послал жене телеграмму о конце.

"Верил тебе больше, чем самому себе. Ты обманула. Все кончено навсегда".

Послав телеграмму, он тут же написал ей письмо.

В нем он сумел показать ей — он думал, что сумел, — всю свою великую к ней любовь, о которой он мало, редко и сухо говорил.

Три дня затуманенные человеческие глаза ничего не могли видеть, кроме двух, ранивших его любовь писем. Три дня ждал он ответа, могшего уничтожить его боль, опровергнуть факты, сказать, что она его любит, что жизнь их была настоящая безобманная жизнь.

Письмо жены dokonало слабое человеческое сердце. Злобно все отрицая, она каждым своим словом о верности подтверждала обман.

Иван прочел мне ее письмо.

Нехорошее, лицемерное письмо прислала ему жена. И не тон письма — гордый и заносчивый — поразил меня: поразили меня причины, которыми обосновывала она свою верность. Нина Борисовна писала Ивану, что она не могла ему изменить в понедельник потому, что была очень занята, во вторник потому, что при ее свидании все время присутствовал третий, в среду потому, что была нездорова... И ни разу нигде не сказала она, что не хотела изменить Ивану потому, что любила его, что не могла причинить ему боль.

Иван рассказал, поник и до моего ухода не промолвил больше ни слова.

Я встал.

— Верна, сынок, — сказал я.

Мне нелегко было это сказать. Всегда лучше обмануть человека и заставить его поверить в хорошее. Но тут все было слишком очевидно. Никаких советов от меня ему не требовалось. Да и какие советы можно тут было дать? Я видел: в нем еще теплится искорка сомнения, и я расчетливо, как прижигают змеиный укус, грубо потушил тлевшее сомнение. Я сказал:

— Да, она тебя обманывала. Надо все кончить. Не уступай только ребенка.

Затем я нахлобучил на голову фуражку и пошел к дверям. Следовало оставить Ивана одного. О боли можно рассказать другу — я горжусь, что оказался другом своему сыну, — но перебалывать боль можно только наедине с самим собою.

На пороге я остановился и, посмотрев на убитого любовью человека, решительно произнес:

— Так любить нельзя.

# x x x #

Мне нечего записывать. Я перелистываю страницы и вижу, как повторяюсь. Маленькие скверные происшествия, изо дня в день собираясь на помятой бумаге, тревожат сердце, которое после каждого происшествия начинает биться все сильнее.

Каждое утро, прежде чем приступить к верстке, приходится бегать по наборной: разыскиваешь набор, текст, перетаскиваешь все к месту верстки, то и дело переставляешь доски с набором с места на место, ищешь шрифты для заголовков — так продолжаете" целый день, так продолжается все дни, так продолжается все последние недели.

Когда Климов вздумал спросить Клевцова, что он собирается предпринять для улучшения типографии, директор коротко возразил:  
— Всего тебе знать не к чему, за типографию отвечаю я.

Брак и порча стали у нас обычным явлением. Заказы портят все, кому не лень, — портят печать, портят линовку и переплет, пределов брака не установлено, никакой борьбы с производственной распушенностью не ведется.

Вчера в печатном отделении Уткин подрался с Нестеренко. Понятно, скучно стоять у станка! Нестеренко швырнул Уткина за машину. Машине ничего, но плечо повреждено — парень выбыл с производства на полтора месяца.

Сегодня Лапкин, линовщик, испортил заказ. У кого хватит смелости признать свою ошибку? Пошел Лапкин к мастеру, пробурчал что-то о заказе, получил новую бумагу... Заказ был испорчен вторично.

Без неприятностей не проходит ни одного дня.

Я прихожу домой раздраженный.

Вот уже несколько вечеров подряд Анна Николаевна обращается ко мне с одним и тем же вопросом:

— Болен ты, что ли, Владимир Петрович? Выпей малинки!..

И каждый раз, расшнуровывая ботинки, я сумрачно отвечаю:

— Тут дело не в малине.

# x x x #

Непонятны мне были новые картины: составлены они большей частью из загадочных разноцветных кубиков, перечерчены резкими искривленными линиями, и долго в них надо всматриваться, прежде чем уловишь тайный смысл художества. Сегодня я понял, что картина сейчас строится, как наш новый дом.

Мне пришлось пробыть на стройке целый день — члены правления нашего жилищного кооператива поочередно дежурят на строительстве. Мы ничего не понимаем в строительном деле, мы не

умею набирать строки кирпичей, расшпонивать их известкой, перевязывать гранки стен стальными обручами и сверстывать стены, лестницы и крыши, но хозяйский глаз следит за работой внимательней и надежней.

Бродя по лесам, иногда отходя от стройки на много шагов, минуя штабели кирпича, я наслаждался силою и красочной мягкостью оранжевых, серых, коричневых, белых геометрических фигур — кубы, квадраты, треугольники стремительно налетали друг на друга, исчезали, поглощаемые новыми, внезапно появлявшимися еще большими фигурами, а те, в свою очередь, исчезали, незаметно вовлеченные в еще большие величины. Дом строился.

Дом строился и напоминал мне оттиски многих изготовленных нашей цинкографией непонятных картин.

Моя работа на стройке заключалась в просмотре счетов — я торговался из-за каждой копейки, я решительно предложил не оплачивать рабочий день появившемуся к вечеру технику Ничепоруку, я выгнал вон купчишку, разговаривавшего с инженером о кровельном железе, и за железом послал в государственный магазин. Но в общем у меня оставалось много времени для праздных размышлений.

Сумерки наступили плавно и урочно.

На лесах, перед выходом на улицу, меня обогнал нервный, торопливый наш прораб. Он на ходу пожал мою руку.

На улице у калитки я остановился и еще раз одобрительно взглянул на дом.

Издали, в тон моим мыслям, раздался крик:

— А ведь домище — то растет!

Я обернулся: из глубины темнеющего переулка, перерезывая тянувшиеся по мостовой отсветы однообразных фонарей, шел Гертнер, размахивая поднятой шляпой.

— Жена заждалась, Владимир Петрович, — весело обратился он ко мне вместо приветствия.

— Ничего, подождет, — усмехнулся я. — Зато домик — то какой, Павел Александрович!

— А какой? — прищуриваясь, усмехнулся Гертнер.

А я ответил:

— Родной.

# x x x #

Рано утром — я только что успел встать — ко мне прибежал сын.

Анна Николаевна, взглянув на Ивана, всплеснула руками и ахнула:

— Батюшки мои! Ванечка, что с тобой? На тебе лица нет!

— Ну—ну! — остановил я ее. — Не видишь, что человек заработался. Не приставай.

Старуха набросилась на меня. Мне некогда было с ней препираться: меня беспокоил сын. С Иваном делалось что—то неладное: глаза ввалились, сухие губы нервно дрожали, руки беспорядочно теребили носовой платок. Мне было жалко сына, но он раздражал меня: так распуститься из—за бабы!

Чай мне был не в чай. Иван ничего не захотел ни есть, ни пить — Анна Николаевна приставала зря. Досталось же от нее, конечно, мне — это я спешил как угорелый и не хотел заставить сына съесть поджаристую хрустящую оладью. Я спешил, но спешил потому, что видел, как нетерпеливо ждет меня Иван. Я сам предпочел бы ничего не есть, но вредная старуха тогда обязательно что—нибудь заподозрила бы.

Московские улицы тянулись пустыми и длинными дорогами, утренняя свежесть готова была убежать вслед за первым трамваем, невидимое солнце чертило бульварные дорожки широкими радостными полосами.

Мы шли по бульвару. Иван то замедлял шаг, то принимался бежать, и мне трудно было идти с ним вровень.

Изредка встречался сонный торопящийся прохожий, и только один садовый сторож, подбиравший разбросанные на земле папиросные коробки, все время маячил перед нашими глазами. На самом краю бульвара Иван остановился. Я думал — он хочет сесть, и опустился на исписанную надоевшими именами скамейку. Но сам он не сел, а остановившись, наклонил ко мне лицо.

— Я не могу так, я не могу так! — с истерической дрожью в голосе зашептал он. — Я люблю ее, но не мог бы теперь ее видеть.

Тут он заметно выпрямился и, сжав кулаки, заорал на меня, точно со мной обманывала его Нина Борисовна:

— Этого я не прощу! Никогда, никогда!..

И потом быстро забормотал, не доканчивая фраз, путаясь в собственных мыслях:

— Понимаешь, я начинаю сопоставлять отдельные факты, начинаю проверять нашу жизнь, и каждая мелочь, не имевшая раньше значения, говорит мне об ее измене. Каждый новый день приносит новые случайности, образующие тяжелую цепь улик. Каждый день ко мне приходят наши общие знакомые, узнавшие о нашем разрыве, и начинают жалеть меня... Понимаешь ли ты: жалеть! Ночью меня преследуют страшные сны. Я не знаю ее любовников — одни называют одних, другие — других, но она снится мне в чужих объятиях... Я не знаю, что мне делать. Мне очень трудно, но я слишком здоровый человек, слишком люблю работу, чтобы добровольно уйти из жизни. Тебе говорю я все это не в поисках утешения, не нуждаясь в поддержке... Перед тобою, отцом, своим, моим верным, и чистым душою отцом, хвалюсь я такой же

сильной, как у тебя, душою. Я люблю ее, и любовь моя даст мне силы оттолкнуться от нее, забыть ее и начать новую жизнь так, как будто я не знал ее никогда.

Над нашими головами слабый городской ветерок шелестел бледными и пыльными листьями бульварного деревца.

Иван нежно посмотрел на меня и хорошо пожал мою руку.

— Спасибо, что выслушал меня, — сказал он. — А теперь пойду на работу.

Какой у меня сын! Как я его люблю! Молодчина, сынок, перемелется — мука будет. Никакой боли мы с тобой не поддадимся.

# x x x #

Стройка подходит к концу. Осталось доделать самую малость — двери на петли надеть, рамы вставить, застеклить, стены покрасить. Но комнаты, комнаты, в которых будем жить мы, уже готовы.

Начали проводить обследование — кому живется хуже. Вместе с Глязером я обошел не одну квартиру и поистине могу сказать: всем хуже.

Были в доме на Мещанской. За розовыми облупленными стенами живет несколько членов нашего кооператива.

По крутой и покрытой скользкой грязью лестнице поднялись на четвертый этаж. Квартиры, робко прячущиеся под крышей и неприветливо встречающие случайных посетителей, стыдятся собственной тесноты и темноты. Право, нежилые чердаки выглядят уютнее, спокойнее, внушительнее.

Мы зашли к товарищу Павлищенко — чахлой, но веселой нашей фальцовщице. Вместе с нами пришел дождь. Мелкой дробью застучал он в окно, и вдруг на мой красный насмешливый нос упала с потолка капля — настоящая дождевая капля. Я поднял голову к потолку: по сероватому квадрату расплывалось мрачное сырое пятно, в углу по стене робко пробиралась к полу тоненькая струйка воды.

Глязер посмотрел вслед моему указательному пальцу, покачал головой и недружелюбно обратился к Павлищенко:

— На новую квартиру надеетесь? Скверно. Почему не обращались к коменданту?

Павлищенко печально улыбнулась.

— Как же не обращалась? — тихо произнесла она. — Несколько раз, бывало, придешь к нему и скажешь: "Вот посмотри, на улице дождик — и у нас дождик". А он скажет: "Что же? Дождик пройдет, и у вас стенки высохнут". Мы собирались у коменданта по нескольку человек. Говорили ему: "Так нельзя, здесь живут работницы с детьми". Он на это отвечал: "А как же раньше жили?.." И напрасно было повторять, что раньше одно, а теперь другое...



Мы обошли с Глязером семей пятнадцать и везде встречали то же: людям тяжело, сырость и темень убивают человеческую бодрость.

Делить комнаты собрались все.

Разговор пошел крупный, серьезный: площади не хватало. Началась грызня. Каждый надеялся получить к осени сухой и теплый угол. Площади не хватало, и не мне одному предстояло зимовать в старом опротивевшем подвале.

Перед самим собой хвалиться нечего: я мог бы получить квартиру — пай внесен полностью, подвал мой никуда не годится, работал в кооперативе на совесть. Однако я отказался. Встал и прямо заявил:

— От получения площади отказываюсь. В первую очередь дадим комнаты бабам с маленькими ребятами. Да есть и бездетные, живущие еще похуже меня.

Отказался — и тут же поспорил с Гертнером.

Он стоял у стенки, заложив руки за спину. Услышав мой отказ, он быстро подвинулся вперед, посмотрел на меня умными глазами и громко заметил:

— Незачем, Владимир Петрович, благодеяния оказывать. Живете вы скверно и на получение квартиры имеете все права.

— Нет, Павел Александрович, — ответил я ему, — кроме прав, я имею еще сознательность. Потому — то я и сам от квартиры отказываюсь, и вам то же, Павел Александрович, советую.

— И мне советуете? — настороженно спросил Гертнер, поднимаясь на цыпочках. — Почему же?

— Да потому, Павел Александрович, что вы человек одинокий, комната у вас маленькая, но для одного сойдет, и еще зиму вы переждать вполне сможете.

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться со мной Гертнер. — Но, я думаю, можно принять во внимание мою работу в кооперативе — я потратил столько сил...

— Все мы тратим много сил, Павел Александрович, — перебил я его. — Но ведь не только для себя тратим мы свои силы.

Тут ему крыть было нечем. Он не мигая смотрел на меня несколько секунд, затем опустил веки и невнятно сказал:

— Да, да...

И потом до конца собрания Гертнер не проронил ни слова.

Представленный нашим правлением план распределения жилой площади общим собранием был утвержден. Ну, не совсем таким, каким он был представлен: мне квартиры не дали, Гертнеру не дали, но утвержден...

Я уходил удовлетворенный. Дом вырос, вслед за ним вырастут новые, и наши ребята, в мелочной жизни часто бывавшие лентяями, гордецами, завистниками, скупцами, чревоугодниками, распутниками и скандалистами, оказались хорошими, выдержанными ребятами,

принесшими много пользы нашей деловой стройке.

На пороге меня задержал Петька Ермаков с каким-то клубным делом, но ему не удалось даже начать разговора. Ко мне подошел Гертнер, грубо отстранил Ермакова, подтолкнул меня к выходу, взял под руку и, наклонившись к моему уху, сдержанным голосом начал сетовать на неправильное решение собрания.

Я сделал ошибку: мне надо было утешить его, успокоить, а я вместо этого принялся ретиво защищать собрание.

— Но я же имел право получить квартиру... Так мечтал о своем угле, столько времени и сил отдал дому... — с отчаянием пробормотал Гертнер.

— Чепуха! — резко остановил я Гертнера. — Да и нечего, Павел Александрович, попусту говорить. Если вы думали только о собственном благополучии, так шли бы к частнику...

— Ах, так! — злобно отозвался Гертнер и свернул от меня в темный переулок, разрывавший ленту неровного асфальтового тротуара.

Я посмотрел на линию домовых фонарей, слабо мерцавших над глухими воротами, и торопливые шаги удалявшегося Гертнера пробудили во мне жалость.

Я крикнул ему на прощанье:

— Эй, Павел Александрович, не заблудись!

Дома меня ждала Анна Николаевна, хитро щурившая покрасневшие глаза.

— Скоро будем новоселье справлять? — спросила старуха.

Я вляпался.

— Видишь ли, в следующем доме квартиры будут лучше, и нам следует подождать, — соврал я жене.

Но сердитый ответ разоблачил мою отговорку.

— Опять врешь! — заворчала она. — Ведь, пока ты дотащился домой, ко мне ваша Голосовская успела зайти... Слышали, слышали, как от квартиры изволил отказаться... Эх ты, благодетель!

— Не бубни! — полушутя-полусерьезно цыкнул я на старуху. — Через год мы выстроим еще один дом.

Старуха не перестала браниться: она верила в постройку нового дома, но сильно сомневалась в моей охоте получить новую квартиру.

# x x x #

А теперь готов реветь я.

После нашей встречи с сыном я работал особенно бодро. На следующий день в типографии развернул газету и спокойно, точно этого ожидал — а ведь я не ожидал этого, не мог ожидать, — прочел извещение о смерти Ивана Владимировича Морозова.

Через полчаса после нашей встречи Иван попал под трамвай.

Я не пошел на похороны. Там было место оркестру, делегации рабочих, товарищам по работе, но не мне — его отцу и его другу. Мне он был нужен живой.

Стороною я слышал: Нина Борисовна бегает по Москве и кричит, что Иван кончил жизнь самоубийством. Многие склонны этому верить. Видевшие его в последние дни покачивают головами, соболезнуют и жалеют молодого и ответственного, бросившегося под трамвай.

Ложь! Под трамвай он попал случайно. Это говорю я, а старик Морозов никогда не врет. Иван никогда бы не лишил себя жизни. Мы не из таких.

# x x x #

Мальчишки победили меня.

У нас в типографии комсомольцы ретивы не в меру. Нет ни одного человеческого чувства, которое они не постарались бы переделать по — своему. Ладно, веди широкую общественную работу, зови нас участвовать в шахматном турнире, заставляй играть на балалайке в музыкальном кружке, но зачем еще трогать нашего бога? Оставьте его в покое. Бога нет? Нет. Прекрасно. Так чего же вы о нем столько кричите?

Комсомольцы в типографии организовали ячейку безбожников. Пожалуйста. Я не могу помешать им делать глупости. Но уж сам принимать в них участия не буду. И вот... Однако, старик, по порядку, по порядку.

Какой хитрец мой добрый, старый Тит Ливии. Я догадывался, что он неспроста переменял имя. Правильно. Мошенник переменял имя неспроста. Да и кто бы стал его менять так, за здорово живешь, на шестом десятке!

Несколько дней назад мы встретились с ним в обычное воскресенье. Пришли мы в пивную почти одновременно. Не успел я захлопнуть за собой дверь, как увидел рослую дьяконову фигуру, медленно раскачивающуюся в клубах сизого табачного дыма.

— Ливий! — воскликнул я, привлекая к себе общее внимание.  
— Друг!

Дьякон повернул ко мне рассерженное лицо и прокричал:

— Сукин ты сын! Довольно тебе надо мной насмеяться. Я даже тебе не Ливии, а Иван.

— Нет, дорогой, — настойчиво возразил я ему, проталкиваясь к свободному столику, поближе к эстраде, — Ивана у меня нет. Его сожгли в крематории. Так и знай: второй Иван мне не нужен, я его не приму.

— Можешь не принимать, — пренебрежительно заметил

дьякон, грозя разрушить стул многопудовой тяжестью. — Но Иванов на свете много, и я один из них.

Черт возьми! Ведь он прав. Иванов на свете много, и большое кипенье моего сердца начало остывать.

— Ин Дмитриевич, — все-таки комкая его настоящее имя, пожаловался я своему Ливию, — у меня умер сын.

Конечно, дьякон ответил традиционной фразой:

— Все там будем.

Я отрицательно покачал головой:

— Там — нет, и здесь — нет.

Дьякон хитро подмигнул, он был со мною согласен: никакого "там" нет.

— И, главное, Ливии, — забывая его просьбу, продолжал жаловаться я, — меня раздражают люди. Они смеют говорить, что мой Иван ушел из жизни по своей воле. Здоровый, сильный человек ушел из жизни по доброй воле! Я же знаю, как он любил жизнь!

— Знаешь? — серьезно спросил дьякон, внимательно смотря мне в глаз.

Я не отвел своих глаз.

— На чужие слова плюнь! — ласково доконал дьякон мою жалобу и, вспомнив что-то свое, взмахнул рукой и сорвал с головы кепку.

Я не верил своим глазам: голова Ливия блестела, точно один из многих бильярдных шаров, так часто загоняемых дьяконом в лузы.

— Голубчик, — скрывая свое удивление, сказал я ему, — после всех этих историй с переменой имени и бритьем головы я серьезно начинаю думать, что голова твоя действительно превратилась в бильярдный шар.

Дьякон захохотал, отрицательно покачивая головой.

— Так что же? — допытывался я. — Или православные иерархи перешли в католичество? Было бы любопытно посмотреть, как наши попы покажут церковным кликушам свежие тонзуры. Я думаю, кликуши поднимут бунт. Где же они будут тогда искать вшей?

Дьякон смеялся, но, заметив мое усиливающееся раздражение, вдруг нахмурился и с легкой грустью протянул мне свою пятерню.

— Прощай! — сказал дьякон, не поднимаясь с места.

— Хорошо, — недовольно ответил я, сердясь на упрямо скрывающего что-то от меня дьякона. — Надеюсь, в следующее воскресенье ты будешь откровеннее.

— Следующего воскресенья не будет, — совсем грустно пробурчал Тит Ливии.

— Дьякон, голубчик, ты совсем одурел. Честное слово, ты совсем одурел. Следующее воскресенье будет через шесть дней, и так будет повторяться, когда во всем мире будет социализм, когда косточки наши пойдут на удобрение хлебородных полей.

— Но у нас с тобой следующего воскресенья не будет, — упрямо возразил дьякон.

— Ливий, не говори чепухи, — внушительно приказал я ему. — Это невозможно. С тобой творится неладное. Мы не заразились холерой, нас не приговорили к расстрелу, и мы слишком маленькие люди, чтобы белогвардейцы пытались бросить в нас бомбу. Следующее воскресенье будет и у меня и у тебя.

Дьякон глубокомысленно согласился:

— Да, следующее воскресенье будет и у меня и у тебя, но его не будет у нас двоих вместе.

Я не понимал ничего. Кто-нибудь из нас рехнулся. В чем дело? О чем он говорит? Нет, я отказываюсь догадываться.

А дьякон еще заунывнее добавил:

— Ты потерял приятеля. Ты видишь меня в последний раз.

Ах, так вот в чем дело. Мне стало ясным все. Дьякон на меня за что-то обиделся, обиделся серьезно, и решил больше не встречаться со мной. Пустяки, я сейчас с ним помирюсь, даже извинюсь, если это будет нужно, и снова все обойдется.

Но дьякон предупредил меня.

— Завтра я уезжаю в Нарымский край, — отдельно произнес Ливии.

Ага, так вот оно в чем дело! Я всегда говорил — церковь не доводит людей до добра.

— Дурак! — не мог я не обругать дьякона. — Зачем ты ввязался в политику? Чем была плоха для тебя наша власть? Предоставь контрреволюцию идиотам и негодьям.

Нет, я не могу описать выражения дьяконовских глаз — мы оба воззрились друг на друга, как влюбленные лягушки.

— Что с тобой? — протянул опешивший Ливии.

— Дурак, дурак! — продолжал я усовещать дьякона. — Рассказал бы мне про свои политические шашни, и я сумел бы выволить тебя из беды. Честное слово, никуда бы ты не поехал. Нет, нет, я не зарекаюсь! Пожалуй, я сообщил бы о заговоре куда следует. Но для тебя я потребовал бы пощады. А теперь пеняй на себя. Тебя высылают, и поделом.

Дьякон понял. Господи, как он зарычал, заблеял, завизжал! Такую какофонию я слышал впервые в жизни. Я уверен: будь в пивной немного попросторнее, дьякон начал бы кататься по полу. Еще немного, и с ним начались бы корчи.

Я разозлился опять: человека ссылают в Нарым, а он хохочет. Вероятно, высылка сильно потрясла моего друга, и он потерял рассудок. Наконец дьякон схватил меня за плечи и завопил:

— Я уезжаю в Нарым по доброй воле.

— Врешь! — закричал я. — В Нарым по доброй воле не едут.

— Едут! — еще громче завопил дьякон. — Я еду. Мне надоело махать вонючим кадиллом. Надоело смотреть на гнусавых старух,

жирных лавочников и рахитичных девочек. Не хочу! Я тоже желаю работать. Понимаешь, Владимир Петрович, работать хочется. Но в Москве бывшему дьякону работы не достать. Хорошо. Ты думаешь, я стал плакать? Я пришел и спросил: а где же можно достать бывшему дьякону работу? Меня спрашивают: "Бухгалтерию знаете?" Говорю: "Знаю". — "Тогда, — говорят, — не хотите ли в Нарымский край ехать, там для факторий Госторга счетоводы требуются, но уж очень там холодно, и охотников находится мало, однако жалованье платят большое". Я недолго думал. "Плевать мне на жалованье", — говорю. — На мне столько жира, что никаким морозом меня не пробрать. "Полтора месяца, спрашиваю, на устройство домашних дел дадите?" Дали. Я подписал договор и полтора месяца, как пригостишка таблицу умножения, всякие дебет и кредиты изучал. Выучил и завтра еду в Нарым.

Голубчик, дьякон... Нет; какой же ты дьякон! Тит Ливий, дай я тебя поцелую!

Нашего полку прибыло. Вот каковы мы — старики. Где — нибудь там, за границей, человек всю жизнь копеечки собирает и на старости лет на проценты живет. Здесь у нас таких нет. Нас всю жизнь трепали всякие неприятности, не каждый день мы обедали, не всегда могли согреть руки, но ничего, мы не раскиселились, мы еще молодым покажем, как надо работать. И везде в нашей стране старики таковы — сверху донизу, от наркома и до меня.

— Тит Ливий, как ты меня обрадовал, — говорю я, а сам и смеюсь, и жму ему руку: не зря я с ним каждое воскресенье за одним столом встречался.

Вот расстаемся мы и, должно быть, да уж какое там должно быть, наверное, никогда не встретимся, а обоим нам радостно.

— Так вот зачем ты Ливия на Ивана переменял? — говорю я дьякону.

— Посуди сам, — отвечает он: — приедет счетовод Иван Дмитриевич Успенский, и никому до него никакого дела — только работай хорошо. А приехал бы Ливии — сейчас же расспросы: какое странное имя, а не из духовного ли вы сословия...

— Что же, прийти мне завтра на вокзал тебя проводить? — предложил я ему.

— Не стоит, — внимательно и ласково отказался дьякон. — Придет жена и реветь будет. Пусть уж наедине со мной наревется, без свидетелей. Ведь ей, кроме денег, от меня больше ничего не видать.

Терпеть не могу, когда мужчины целуются, но с Ливием мы расцеловались. Адресов мы друг другу не давали. За всю свою жизнь я пары писем не написал и писать ленив. Да и что в письмах скажешь? И без писем мы будем знать, что каждый из нас доволен своею жизнью, много работает и хорошо ест.

Я всегда готов сказать, что мы, старики, лучше молодых, и

все — таки мальчишки победили меня.

Среди людей, посещающих церкви, есть здоровые люди. Да чем, к примеру, Анна Николаевна не здоровый человек? Нельзя их дарить попам.

Сегодня я пришел к комсомольцам и, нарочно хмурясь, спросил:

— А у кого тут в активные безбожники можно записаться?

# x x x #

Запахло земляникой, запахло сырой зеленой лужайкой, и в наших глазах мелькнуло воспоминание о синих — синих васильках. На нашей коричневой двери, скрипучей и злой в своем убожестве, на нашей двери, похожей на девяностолетнюю старуху, появилось объявление. Я не люблю бездушных, холодных огрызков бумаги, измусоленных сереньким крошащимся графитом, я не люблю часов, посвященных ненужной болтовне. Сегодняшнее объявление цвело: зеленый, красный и синий карандаши прошлись по бумаге и сделали свое дело — они привлекли внимание.

Тра — ля — ля! Разумеется, извещение о собрании. Но до чего они докатились! Открытое партийное собрание, на которое приглашаются беспартийные рабочие, созывается в обеденный перерыв. Разумеется, в обеденный перерыв! Эти собрания так интересны, там разбираются такие животрепещущие вопросы, что никакой болван не согласится сидеть на них после работы. А в обеденный перерыв — пожалуйста, в обеденный перерыв я свободен.

— Пойдем, Климов, сходим, — позвал я своего приятеля, и мы двинулись.

Мы успели захватить конец Кукушкиной речи о производственной дисциплине, о прогулах, о необходимости улучшить, наладить, укрепить... Обычная речь: на тебе грош, но меня не трожь.

— ...Товарищи, все должны участвовать в новом строительстве. Товарищи, мы должны бороться за свое пролетарское государство. Товарищи, совместными усилиями исправим недостатки, учтем успехи. Итак, товарищи, за строительство.

Так кончил Кукушка свою речь.

Климов выступил шага на два вперед и вежливо спросил:

— Извиняюсь, сегодня беспартийных приглашали? Что от них требуется?

— Как что? — воскликнула Кукушка. — Вся масса рабочих должна участвовать в нашем строительстве. Мы ждем от беспартийных товарищеской критики, деловых указаний.

Тогда Климов со своего места закричал:

— Когда о том разговор, позвольте сделать товарищеское указание. Не так давно к нам привезли около двухсот ролей бумаги... Сложили ее на заднем дворе... Ночью, товарищ Кукушкин, супротив партийных директив, пошел снег, затем пошел дождь, ну и половины бумаги как не бывало. Выбросили ее, товарищ Кукушкин. Некоторые роли промокли до самой что ни на есть катушки и целиком пошли в срыв...

— Что вы хотите сказать этим, товарищ Климов? — оборвал его Кукушка.

— Интересно мне знать, — ласково разъяснил Климов, — кто за это дело отвечать будет и что для сохранения бумаги директором предпринято?

— Хорошо, я отвечу, — сухо произнес Кукушка. — Я отвечу всем сразу, а пока, товарищи, выступайте.

— А мне можно? — несмело спросила Голосовская.

— Слово имеет товарищ Голосовская, — сейчас же сказал Кукушка. — Три минуты. Пожалуйста, начинай.

— Скажите, — начала Голосовская, — на каком основании касса взаимопомощи мне в помощи отказала? Мне деньги были вот как нужны, — она провела ладонью по горлу, — а мне отказали... И как отказали, дорогие вы мои товарищи. Говорят, тебе отказано потому, что мы месяц назад видели, как ты пирожное в буфете ела. Ты, мол, человек состоятельный — пирожные ешь. Вот и весь сказ. И пришлось мне по добрым людям ходить и по трешке деньги собирать. В следующий раз, если в кассу идти придется, лицо краской вымазать надо и мылом неделю не мыться, авось поможет...

— А я выступать не буду, — начал свою речь котельщик Парфенов, — не буду. Вот не заставите, не буду. Почему нас только сейчас позвали? Мало собраний у ячейки было? Хоть бы раз вы беспартийных рабочих пригласили... Нет, братцы, так не годится. Всех работников надо одинаково уважать... Потому я и выступать не буду.

— Да ты и так нюхательного табака Кукушке в обе ноздри наложил, — закричал я Парфенову и громко захохотал, нарочно захохотал, чтобы Кукушке обиднее было.

Действительно, Кукушка строго так, как петух на одной ноге, когда курицу обхаживает, поднялся и говорит:

— Ваш смех вовсе неуместен, товарищ Морозов. И за истечением перерыва объявляю себе заключительное слово. Все упомянутые недостатки произошли вследствие объективных причин, и нами будут приняты меры к изживанию такого состояния. Этим, я полагаю, разъясняю спрошенное недоумение и объявляю открытое собрание закрытым.



К черту! К дьяволу! Я знаю свои права! Теперь дураков нет!

Странно даже подумать: к работе относятся так, точно все решительно и бесповоротно сговорились угробить типографию. Работа ведется из рук вон плохо. Каждый занят личными делами, каждый то и дело бегают в завком, и каждому ровным счетом наплевать на выполняемое дело.

На собрании рабочих Кукушка помянул уже слово "консервация". Помянул неспроста. Если дошло до таких речей на собрании, значит, где — то такие речи велись еще много дней назад.

Нашу типографию хотят законсервировать. И мы точно беспомощные селедки ждем своей участи.

Каждый беспечен, будучи уверенным, что он найдет себе работу. Будьте спокойны, голубчики, каждый из вас найдет себе работу — ходить в Рахмановский переулок на биржу труда.

Любому из нас дело только до себя: где моя верстатка, кто ее стянул, — так, так и так! — но не хватает верстаток, плевать, моя у меня в руках.

Думая так, каждый из нас завтра же останется без верстатки. Приятели, подумайте о завтрашнем дне.

И, наконец, что мы оставим нашим детям? Уверенность, что у них были обыкновенные недалекие отцы?

Выходит, что вчера, дрожа на холоде из — за восьмушки хлеба и гоняясь, как лошадь, в поисках жратвы, я мог бороться за лучшую жизнь, а теперь, имея французские — они делаются в Москве, душистые — как они возбуждающе пахнут, поджаристые — как они хрустят на зубах — булки, мы работаем так, точно хотим завтра же их потерять.

Пока что у нас сокращают восемьдесят человек. Восемьдесят и из них двадцать наборщиков. И я попал в число двадцати. Разумеется, меня не сокращают, посмели бы меня сократить! Слишком долго и хорошо я работаю. Мне известно, что администрация за меня, директор определенно не хотел меня потерять, но заартачился завком, и — это редкий, очень редкий случай — директору пришлось пойти на уступку. Обо мне решили так: Морозов проработал четыре с половиной десятка лет на производстве, Морозову гарантирована пенсия, конечно, Морозов еще работает так, что за ним не утонится ни один молодой наборщик, но, сохраняя хлеб одному из двадцати сокращаемых, Морозова следует перевести на пенсию — и тогда придется сократить только девятнадцать.

Я на это не согласен. Я жалостливый человек, но, когда дело идет о моей работе, я становлюсь жесток. Работы своей не уступлю никому. Они сами говорят, что предприятию меня жалко терять, что работаю я чуть ли не лучше всех, и вот меня из — за вредной ненужной жалости увольняют ради сохранения хлеба не умеющему

работать человеку. Из всех сокращаемых наиболее способный зарабатывает в месяц рублей сто, я же один двести — ведь деньги — то платят не задаром. Особенно хорош завком. Потому что я проработал четыре с половиной десятка лет, потому что я, как они выражаются, сознательный передовой рабочий, у меня надо отнять мое главное, мое единственное — труд... Нет, работы своей я не отдам, за работу свою буду грызться, и каждому, кто станет мне на дороге, перегрызу горло — иногда и мною овладевает злость.

# x x x #

Блеклым, сизым цветком увядала ночь. Мне не спалось. Я ворочался с боку на бок.

Я не люблю без толку валяться в постели — или спи, или вставай. Осторожно встав, я тихо оделся, стараясь никого не разбудить, и вышел на улицу. Легкие двери без скрипа — недаром я аккуратно смазывал петли керосином — захлопнулись за моей спиной.

Предутренние сумерки ласково окутывали сонные улицы. Тумана не было, в прозрачном сумраке дома казались ровнее, тротуары чище, небо прекраснее.

Славно думать в предутренние часы о своей жизни!

Но куда это я иду? Куда понесла меня нелегкая в этакую рань? Ну, ну! Нечего притворяться, будто ты не знаешь, куда направлен твой путь. Ты идешь к своему дому, в котором тебе не придется жить. Тем не менее этот дом — мой дом, я его строил, я давал на него деньги, я ругался с десятниками. Ерунда! Нет квартиры в этом доме — найдется в следующем. Пока же я хочу посмотреть на нашего первенца.

Вот и он. Неплохой домик выстроило наше товарищество. Он невысок — четыре его этажа не рвутся безнадежными мечтателями в небо, но они растянулись далеко вширь и прочно стоят на земле, белизной и прямизной стен радуя людей.

Он готов к приему хозяев, осталось доделать самую малость — кое-где застеклить рамы и побелить потолки. Людям, получившим квартиры, уже не терпится поскорее вбить в стены гвозди и навешать на них картинок и вешалок. Нам, строившим этот дом, они не дают покоя. "Скорее, скорее", — ежедневно слышим мы назойливые настояния.

Леса еще не сняты — точно грязные пеленки, окутывают они наше здоровое детище.

Так и есть: Игнатич сладко спал, закутавшись в овчинный тулуп. Не в первый раз он вместо зоркой охраны нового здания отдавал оплаченное ночное бдение слабому старческому сну. Однажды за время его сна с стройки увезли тысячу кирпичей, в

другой раз утащили несколько балок, и только заступничество седых членов правления оставило Игнатъича на работе. Господи, я опять хвалюсь: ведь седых — то у нас в правлении — да, да, только один я. Молчу.

Я не стал будить Игнатъича. Раз я здесь, он может спать спокойно. Мне не спится, и сторожить может кто —нибудь один.

Прикрыв за собой калитку, я тихо вступил на леса. Доски легко покачивались над ногами, слабый ветер обвевал меня сладким запахом свежего теса.

И вдруг я услышал шорох, доносившийся из глубины дома.

Так и есть. Игнатъич не уследил. В помещение забрался маленький жулик и небось при помощи тупой железной стамески крадет дверные ручки, в поте лица своего старательно и неумело отвинчивая упрямые винты.

Я вошел в здание.

Стены пахли свежей краской. Пустые комнаты казались необыкновенно громадными. Невысокие потолки в темноте теряли очертания.

Шорох доносился снизу.

Держась за перила, я медленно переступал со ступеньки на ступеньку. Третий этаж, второй, первый. Никого нет. Я прислушался. Мне показалось — затихавший шорох убежал куда — то в сторону и медленным тягучим движением пополз вниз.

Это не воровской шорох — странный, необычный...

Впервые в жизни небывалая таинственность остановила меня...

Вперед, товарищ Морозов, вперед, вниз.

Мой слух не ослаб — шум доносился из подвала, из отделения, где помещались котлы для парового отопления.

Не скрывая своих шагов, я быстро затопал покоробленными ботинками вниз, в подвал, — каменные ступеньки глухо повторяли дробь моих каблуков, и ясное эхо отвечало из — под сводов четвертого этажа.

Вот и котельное отделение, вот и мерцающий тусклый свет. Перед стеною стоит на коленях черный мрачный человек и держит над полом руку с зажженной спичкой.

Это не было похоже на воровство. Скорее всего, можно было подумать, что черный человек ищет клад. Но какие клады могут быть в только что отстроенном доме? Не клад ищет черный человек. Ясно: он хочет сжечь моего красавца. Он — некрасивый, мрачный, черный — завидует красоте, светлости и белизне нашего детища.

Некогда было раздумывать. Последовавшее за этой мыслью действие я не могу хорошо припомнить...

Я бросился на черного человека, дернул его руку, держащую зажженную спичку, и повалил на спину. Метнулась вверх зажженная спичка, взвилась в воздухе, потухла и, упав, слабо зашипела — так зудит пойманная в руку муха.

При тусклом бредовом свете крохотного карманного фонарика я тяжело ударил черного человека по лицу, еще, еще, еще. Неизвестный втянул голову в плечи, вскрикнул, и я его узнал.

Это был Гертнер, и я выпустил его из своих рук, он наверняка слабее меня. Я знаю: прикажи я ему, вставшему и дрожащему, снова лечь, он не посмеет не выполнить приказания.

Я провел ладонью по полу и поднес руку к лицу — пресный запах керосина подтвердил вспыхнувшее подозрение.

— Наверх! — приказал я Гертнеру, и мы — Гертнер впереди, я сзади — с мигающим фонариком начали спокойно подниматься по лестнице.

Мы поднимались все выше и выше, дошли до площадки четвертого этажа и, не обменявшись ни одним словом, свернули на маленькую лесенку, ведущую на чердак и плоскую крышу.

Выйдя на крышу, мы очутились в пустыне. Внизу теплилась разнообразная жизнь — одинокие прохожие, цоканье лошадиных копыт, бесчисленные огни... И все же, стоя на крыше незаселенного дома, мы находились в пустыне. Только восточный ветер изредка вмешивался в наш разговор, относя в сторону отдельные слова.

Я стоял на самом краю крыши. Гертнер слабым движением мог легко меня столкнуть, но я его не боялся.

Гертнер вытянулся во весь свой длинный рост, судорожно, как от мороза, поводит плечами и понуро глядел поверх меня.

Я спросил:

— Павел Александрович, вы это зачем?

Лицо Гертнера перекопилось, он поднес руку к глазу, и только тогда я заметил, как сильно его ударил — из щеки сочилась кровь.

— Морозов, ты знаешь, с какой любовью строили мы этот дом, — ответил он мне. — Как я болел за каждую мелочь. И мне, — ты знаешь, Морозов, я много сил, много желаний отдал этому дому, — не нашлось в нем приюта.

Мне показалось, он всхлипнул. А может быть, и нет, — возможно, ветер отнес в сторону какое-нибудь слово.

— ...Мне — нет, — так пусть и никто не получит! — продолжил он в последнем порыве.

Что я мог возразить? Я напомнил ему о себе.

Отвернувшись, Гертнер безнадежно промолвил:

— Но ведь вы... Вы сильнее...

Возможно, я поступил невыдержанно: по правилам Гертнера следовало отправить в тюрьму, но я его отпустил... Я знал: истерический порыв мелкого человека исчез бесследно, он многожды будет раскаиваться. Тысячи неисчислимых мелочей превращают жизнь слабеньких людей в немощное страдание. Такие люди — наступает момент — идут в наших рядах, но вот дорога становится круче, ему становится жаль себя, жаль сил, отданных шедшим рядом соседям, и маленький человек срывается и падает вниз.

Я отпустил Гертнера и в одиночестве долго наблюдал очищавшееся от ночных облаков утреннее небо.

# x x x #

Непрестанное кружение нашей планеты проходит для типографии бесследно: ни одного движения вперед. Мир крутится вокруг солнца, мы же сами вокруг себя. День — ночь, ночь — день полны мучительного однообразия: ночь — тайна, неизвестность, мрак, день — слякотный день, сырость, туман, мразь. Белка в колесе исполнена мечтательного однообразия, она стремится назад. Нам путь назад заказан, вперед не идем, прыгаем на месте и плюем под ноги, авось проплюем землю и провалимся.

— "Ночка темна — я боюсь..." — звенит веселый голос Снегирева.

Беспечный голос: ночка темная в голове у парня.

Сегодня у нас заседание, неофициальное заседание, свои люди: побалагурить сошлись.

Удобнейшая комната — завком: всегда пусто. Председатель — человек занятой, в завкоме ему сидеть некогда, и потому тот, кто слаб, приводи баб, покупай вино, выбивай дно и веселись в пустом помещении до потери сознания.

Наша семья дружная, все говорить любители, особенно коли разговор предполагается по душам.

Климов достает грязный, засморканный платок, протирает глаза, приглаживает усы и спрашивает:

— По какому случаю и кем собраны?

Ответа он не получает. Все заняты досужими пересудами, никто не обращает внимания на его вопрос.

Мы терпеливо ждем прихода Жоржика Бороховича.

Но вот и они — спевшаяся и спившаяся тройка — Жоржик, Витька Костарев и Жаренов.

— Желательно посоветоваться, — обращается к нам Костарев, — о порядках в типографии.

— Еще бы не желательно, — поддакивает Андриевич.

Жоржик и Жаренов стоят обнявшись, от обоих попахивает водкой — должно быть, хлебнули для смелости.

— Да кто нас сюда собирал? — интересуется Архипка.

— Мы, — веско произнес Витька, указывая пальцем на свою грудь. — Мы — инициативная группа, решившая оживить производство.

— Инициативная группа? Так, так, — неодобрительно бормочет про себя Климов.

Жаренов протягивает руку вперед, другую засовывает в карман пиджака и начинает громить типографию:

— Невозможно становится, совсем невозможно. Разве у нас коммунисты есть? Нет их...

Жаренов растерянно обводит глазами присутствующих, точно ищет между ними коммунистов.

— Например, Косач партийный. Разве с него что спросится? Он человек маленький. За все про все будет отвечать администрация. Отвечать — то она будет, а пока нам — маленьким людям — прикажете в гроб ложиться? Продукты дорожают, ни к чему не приступись, никаких денег не хватит, надо требовать прибавку. Прибавки, и больше нам не о чем разговаривать...

Жоржик перебил Жаренова:

— Вообще мы больше не можем. Ни завком, ни ячейка нам ходу не дают... Новый порядок в типографии надо установить. Никакого начальства! Выберем сами себе заведующего, и пошла писать губерния. Что выручим — наше, убыток наш, прибыль наша...

До чего договорились ребята! Откуда мысли такие в голову лезут? Вот я вас, сукиных детей!..

— Это вы — то — Жаренов с Жоржиком — хозяева будете? — спрашиваю я разговорщиков. — Хозяева: один пьяница, а другой "жоржик".

— Как ты сказал? — гневно закричал на меня Борохович.

Со стула нетерпеливо вскочил Алексей Алексеевич Костомаров — метранпаж и честный партиец — и закричал:

— Кого, ребята, слушаете? Жаренов из партии выгнан? Выгнан. За хорошее партийный билет не отнимут. Мало Жаренов хамил, что ли? А вы его слушаете. И Жоржику не сегодня завтра лететь из комсомола. Слушатели! Они вам Советскую власть предложат свалить, вы тоже слушать будете?

— Зачем слушать, и мы говорить начнем, — отозвался Андриевич.

Климов размахнулся, стукнул кулаком по стене, провел пятерней под носом и обругал Андриевича:

— Тут, брат, не говорить: бить надо.

Жаренов замахал рукой:

— Потише!

— Нет, не тише! Нынче спешить надо! — закричал Климов еще громче.

— Какой нашелся!

— Заворачивай, заворачивай в сторону!

— Вот в морду тебе и заверну!

— А это видели?

Борохович сложил из трех пальцев комбинацию.

А Мишка Якушин схватил со стола линейку да как бахнет Бороховича по руке.

Жоржик взвыл.

Его попробовал перекричать Костомаров.

— Не слушайте бузотеров, ребята! Они наговорят себе на голову... Пошли по домам!..

— Требуем прибавки! — завопил Жаренов. — Кто со мной?

К нему пододвинулись Жоржик и Костарев — встали они втроем в углу и вызывающе посмотрели на нас.

Костомаров усмехнулся и внятно произнес:

— Бузбюро. Как есть бузбюро.

— Бюро? Где? — вдруг послышался голос нашего тихого предзавкома Шипулина.

Он стоял на пороге, держа в руке разбухший порывевший портфель.

— Какое бюро? — еще раз просительно обратился он к ребятам.

— Бузотерское, — насмешливо объяснил ему Климов.

— Шутите? — вежливо и робко усмехнулся Шипулин, подошел к столу и начал копаться в ворохе выцветших бумажек.

— С какой стати шутить? Это ты только шутками занимаешься, — ответил Костомаров.

— То есть как шутками? — обиделся Шипулин.

— А так, — объяснил ему Костомаров. — Делом ты не занимаешься.

Костомаров говорил правду. Шипулин был человек тихни, недалекий, неприметный. Уважением среди рабочих не пользовался и держался на своем месте только благодаря Кукушке, у которого находился в полном подчинении.

— Как тебе не грешно, — беззлобно обратился Шипулин к Костомарову. — Ведь я занят круглые сутки.

— Да чем ты занят — заседаниями? — засмеялся Костомаров. — В понедельник у тебя было что?

— В понедельник? — задумался Шипулин. — Бюро кассы взаимопомощи, правление клуба, ячейка Осоавиахима, партийное собрание...

— Во вторник?

— Во вторник? Культурно—бытовая комиссия, комиссия по работе с отпускниками, делегатское собрание...

— В среду?

— Кружок текущей политики, завком, культкомиссия, производственная комиссия да еще открытое партийное собрание...

— А в четверг?

— Библиотечная комиссия, редколлегия стенгазеты и производственное собрание...

— В пятницу?

— В пятницу? В пятницу пустяки. Собрание уполномоченных по профлинии, заседание в культотделе да собрание рабочей молодежи.

— Суббота?

– Только бюро ячейки и шефское общество, даже в баню успел сходить.

– А в воскресенье что делал?

– На собраниях был. Утром собрание уполномоченных кооперации, а вечером собрание членов клуба... Да ты не думай, я на художественную часть не остался – ушел домой газеты читать.

– Какие газеты? – спросил Костомаров.

– За неделю газеты, по будням времени нет, – скромно ответил Шипулин.

Этот разговор шел при всех, и я не знал, то ли смеяться над подковырками Костомарова, то ли жалеть Шипулина.

Помаленечку все разошлись.

Ко мне с Климовым подошел Якушин.

– В клуб не пойдете? – пригласил он нас.

– А для чего идти – то? Не видали мы, как цыганочку пляшут? – сурово отозвался Климов.

– Уж мы лучше в пивнушку, – согласился с ним я.

На лестнице нам встретилась прежняя тройка – Жаренов, Жоржик и Витька.

– Пошли против своего... – злобно упрекнул нас Жаренов.

Климов резко обернулся, смерил взглядом всю троицу и dokonчил:

– Своего дерьма!

# x x x #

Лампочка скупно мигала под потолком. Глухая черная ночь обволакивала типографию.

Лестницы падают вниз, лестницы несутся вверх – типография живет.

Ночь. Идут годы. Часы отсчитывают секунды, годы проваливаются в прошлое. Еще одна ночь у реала.

Последняя ночь.

Недалеко от меня Климов: завтра, сосед, мы пожмем друг другу руки – простимся. Сзади меня Андриевич беседует с Якушиным: им попался трудный набор – таблицы. Тискает сегодня Архипка. Не придется тебе, брат, прописные мне подавать. Дежурный метранпаж Костомаров безучастно следит за версткой.

Мне холодно. Впервые на работе мои плечи пронизывает озноб.

И тишина. Почему тишина? Почему никто не звонит? Или мы растеряли все слова?

Последняя ночь. Завтра расчет, прощанье, пенсия: грызня со старухой, жилищное строительство, увилвание Валентины от стариковских расспросов... Скука!



Я бросил верстатку, вышел на лестницу, поглядел вниз, в пролет. Бездонный квадратный мрак не обещал жизни.

Я рванул дверь наборной, она широко распахнулась, звякнуло выпавшее стекло.

Мои сверстники и ученики, склонившиеся над кассами в грязных синих халатах, напоминали слабых синих воробьев, жадно клевавших тяжелые свинцовые буквы.

— Стой! — закричал я хриплым голосом. — Бросай работу!

— О чем разговор, Морозов? — удивленно поворачиваясь, спросил Костомаров.

— О смерти, — рассудительно ответил я.

Наборщики подошли ко мне. Я знал: скажи одно слово неправильно — меня засмеют. Надо было рубить так, чтобы каждый почувствовал на губах вкус крови.

— Вас губят, ребята, — начал я. — Вас губят, и я могу это доказать. Четыре десятка лет простоял я у реала и за все эти годы ни разу не обманул своего брата по работе...

— Что тебе нужно? — грубо крикнул Якушин.

— Мне нужно, чтобы меня слышала типография. Вас, ребята, хотят пустить по миру, а типографию уничтожить. Хотят уничтожить типографию... Я могу это доказать.

— Так говори, Морозов, говори до конца, я принимаю на себя ответственность за прогул, — отдельно произнес Костомаров глухим голосом.

— Нет! Пусть меня слышат все. Вся типография! Идем в ротационное! — крикнул я, выскочил за дверь и побежал вниз по лестнице.

За мной бежала только неслышная моя тень, кривляясь на стене с непонятными ужимками.

Минута прошла — я бежал один. Вдруг лестница наполнилась грохотом — наборное отделение, выкрикивая ругательства, догоняло меня.

Я уверен — такой поступок был возможен только в нашей типографии: расхлябанность, отсутствие дисциплины, попустительство администрации привели к тому, что целый цех разом бросил работу и побежал слушать старого сумасброда.

В ротационном отделении нас встретил густой залиvistый храп.

Под столами, на ролях, в кучах срыва валяются люди.

Нельзя швыряться людьми. Работа в ротационном отделении начинается в три часа ночи, и семьдесят рабочих, приехавших с последним трамваем, досыпают два часа у машин.

— Приятели, вставай! Типография пропадает! — истошным голосом вопит Андриевич.

— Что пропадает?

— Где?

Печатники поднимаются и удивленно смотрят на наборщиков.

— Морозов скажет! — кричит Якушин. — Айда, Петрович, за котельщиками!

Вдвоем с Мишкой мы несемся в котельную. Там плеск — воды по колено и ругань.

— Ребята, наверх, в ротационную! — орет в дверях Мишка.

Мы поворачиваемся и торопимся обратно.

Ого! Да здесь собралась половина типографии. Мы поговорим, и кому — то станет жарко.

Слабый свет пробегает по лицам мигающими тенями — тревога, беспокойство, усталость, — спокойных лиц нет.

Климов поднимает грязную волосатую руку, угрожающе помахивает ею в воздухе и кричит:

— Слово предоставляется товарищу Владимиру Петровичу Морозову.

Я чувствую на себе пристальный горящий взгляд. Вглядываюсь. Костомаров смотрит на меня жесткими, настороженными глазами, потом складывает руки рупором у рта и кричит:

— Не проштрафись, старина!

И я заговорил.

— Эй, долго вы намерены прятать свои носы в воротники?

— Какие носы? Не мели чепухи!

— Типографию собираются прикрывать. Не слышали, голубчики, такой шутки?

Тревожные вопросы посыпались и забарабанили по мне, точно я тряс урожайную яблоню.

— Кто закрывает?

— Почему?

— Довели!

Вода в котле закипела. Надо осторожно приподнять крышку и дать улечься лишнему пару.

— Про сокращение слышали?

Все молчали.

— Пусть будет вам ведомо: сокращение — только начало. Типография умирает. Эй, наборщики, набор хорош?

— К ядреной матери! — дружным ревом ответили они.

— Эй, печатники, печать хороша?

— К ядреной матери! — согласились они с наборщиками.

— Фальцовщики! Переплетчики! Котельщики! Граверы! — поочередно окликал я рабочих, и все они отзывались о своей работе последними словами.

— Типография приносит убыток. Дело дней — прикрыть лавочку и прогнать всех на биржу... Не прячьте носы в воротники, высовывайте их наружу, дышите, дышите ими. Чувствуете? Пахнет безработицей. Сейчас пыль, завтра голод.

Похожий на раздраженного гусака, вытянул Жаренов свою

шею и зашипел:

— Прижали самого — заговорил по — нашему.

— Нет, дурак, не по — вашему, — спокойно возразил я ему. — Не обо мне разговор. Я завтра же получу пенсию и заживу барином, а вот каково будет тебе.

Я почесал затылок и начал рубить сплеча:

— Неумелое хозяйствование разрушает типографию. В ротационном — Ермаковка, в котельной — половодье, в наборной — дискуссионный клуб... Вентиляция превосходная: до ноября естественным путем помещение проветривалось — добрая половина стекол в окнах была выбита. Мы, конечно, возроптали. Тогда окна наглухо застеклили, и теперь мы задыхаемся. Спецодежда — кто ее, товарищи, видел? А вот с праздниками у нас хорошо. Понадобилось красный уголок кумачом обтянуть, немедленно у нас Архипку с Гараськой откомандировали, пять дней парни в рабочее время уголок обтягивали... При таких порядках и типографию и директора...

Тут я завернул такое ругательство, что... Эх, да что там говорить, даже Жаренов крикнул.

После моих слов начался всамделишный митинг.

Каждый нашел что сказать.

Так их, так! Вот тебе, Клевцов! Вот тебе, Кукушка! Ругайтесь, ребята, ругайтесь, брань на ворота не виснет. Высовывайте носы из воротников. Сегодня брань идет на пользу и вам и типографии. Вода в котле опять перекипает. Так и надо! Пусть она зальет всю плиту — шипенье и вонь привлекут внимание хозяев.

Вдруг этот парень, этот щенок Якушин, по глупости чуть не испортил всю музыку.

— Даешь забастовку! — завопил он на все помещение. — Пошли по домам!

— И то, разойдемся, — поддержал Якушина несмелый голос.

На выручку пришел Костомаров.

— Рехнулись, что ли? — по — хозяйски прикрикнул он на волнующихся людей. — Разве у Сытина работаете?

Толпа смолкла.

— Типография советская, власть рабочая, партия большевистская, — кричал увещевавший рабочих Костомаров. — Здесь вам не Европа!.. Хозяева здесь — вы? Так действуйте, черти, по — хозяйски!

Началась суматоха. Каждый предлагал свое. Мелкими льдинками плыли в потоке голосов хрупкие предложения, сталкивались друг с другом, дробились и таяли.

Ночь за окнами потускнела, электрический свет дрожал, становясь на фоне серых окон все более призрачным.

Возбуждение остывало.

Сердце мое билось сильнее, еще несколько минут и придет конец — все станут на работу, и завтра начнется то же, что было

вчера.

Я положил локти на плечи моих соседей, подтянулся на руках и с отчаянием в голосе воскликнул:

— Братцы, неужто опять пыль из касс ртом выдувать? Что же мы сделаем?

Горячей волной обдал меня густой бас котельщика Парфенова:

— Очень просто: и директора и Кукушку в типографию не пускать! А тем временем ну хоть Костомаров с Якушиным пусть по властям прут: желают, мол, рабочие хорошего хозяина и наваристых щей.

Опять наступила тишина.

Утром по—обычному гудели машины, взметывались тысячи отпечатанных листов, клевали свинец синие воробьи, и только в воротах десять зубоскалящих парней дожидались начальства.

# x x x #

Свистим! Какой занятый, залиvistый свист!

Мы встретили директора я не сказал бы ласково, но внимательно. Он подошел к воротам, но не успел сделать от калитки шага, как перед ним стеной выросли десять отчаянных ребят.

— Тпру! — остановили они Клевцова. — Погоди здесь, сейчас с тобой придут поговорить.

За мной и Костомаровым прибежал Якушин. Мы наскоро обменялись несколькими тревожными словами и побежали во двор. Разумеется, побежали — как—никак таких, как мы, считают сотнями, а Клевцов — директор.

— Здравствуйте, товарищ Клевцов! — поздоровался я от имени всех.

Растерянный взгляд директора пробежал мимо нас туда, за стены, в типографию, — он тщетно пытался догадаться о причине нашего странного разговора.

— Что все это значит? — раздраженно и повелительно спросил директор.

— Порядок наводим, — грубо брякнул Якушин.

Костомаров неумело подмигнул мне глазом, я потянул Якушина сзади за брюки. Костомаров коротко и отрывисто передал директору решение рабочих:

— Товарищ Клевцов, мы вас больше в типографию не пустим. Возможно, вы неплохой хозяйственник. Но у нас вы мерили все на свой аршин. Только аршин ваш оказался неправильным, короче обыкновенного. Развалили типографию. Побудь вы еще месяц — типографии крышка. Вам хорошо, вас в другую типографию начальником пошлют, а нам — на биржу идти. Рабочие на собрании решили больше вас в типографию не пускать.

Клевцов побледнел, сощурил глаза и вежливо, даже тихо спросил:

— Позвольте спросить, кого же вы назначили директором?

Ах, bestия! Ты вздумал нас ловить? Нет же, мы тебе не плотва.

— Убери свою удочку дальше! — усмехаясь, ответил я директору, выступая вперед. — Самостийничать мы не хотим. О новом директоре позаботится трест.

— Так извольте жаловаться, а не устраивайте митинги, — сразу меняя тон, сухо заявил Клевцов.

— Мы и пожалуемся, — спокойно отозвался Костомаров. — Но калечить типографию больше вам не позволим.

Терпение Якушина лопнуло, он выскочил сбоку, заслонил Костомарова и грубиянским тоном выпалил в лицо директору обидные слова:

— Чего нам жаловаться! Выгнали тебя — и крышка. Иди ты на нас жалуйся!

Вдруг, еще за воротами, послышался сердитый, приказывающий голос:

— Кто там разговаривает? Немедленно прекратить!

Перед нами появился Кукушка, с поднятым кверху носом, с презрительно сложенными бантиком губами и дерзким выражением глаз.

— Это вы, товарищ Клевцов, с ребятами шутите? — сразу смягчил он голос. — У меня к вам дело... А ну, ребята, по местам, по местам, живо!

Несколько голосов дружно ему ответило:

— Катись...

— Колбаской, — ласково прибавил Якушин.

— За что вы меня, ребята? — почти жалобно буркнул Кукушка и вопросительно взглянул на Клевцова, вероятно, считая директора виновником нашего бурного настроения.

— Бунт! — серьезно сказал Клевцов. — Я уезжаю в трест.

Потом он полуобернулся к нам и почти по слогам кинул угрожающие слова:

— Не беспокойтесь, через два часа в типографии будет порядок, а хулиганам придется отвечать.

Хотел я ему сказать — в своем доме человеку бастовать не приходится, только этот человек не чувствовал себя в нашем доме своим...

Мы молча проводили директора. Но я сразу понял: в типографию он не вернется.

Кукушка оказался глупее.

— Бузотерство? Выступление против руководства? — вызывающе закричал он. — Я иду в райком!

— Иди, иди, мы будем там раньше, — насмешливо откликнулся Костомаров.

Спровадив начальство, мы послали Костомарова в райком, Парфенова в трест, а сами пошли на работу.

# x x x #

Работа шла лучше обычного. Или это мне только казалось? Да нет, все рабочие находились в возбужденном состоянии и, ожидая дальнейших событий, больше молчали и углублялись в работу.

Пришли сумерки, зажглись огни.

Я был занят в ночной смене и весь день просидел в завкоме, говорил по телефону, советовался с Костомаровым, Якушиным, Парфеновым и дожидался гостей.

Никто не расходился по домам.

Вечером, часов в семь, перед типографией загудела сирена.

Раньше звонка обежала все помещение весть:

— Приехали!

Через несколько минут типография собралась, — все бежали, торопились, никто не задержался, похоже было — пожарные по сигналу торопят.

Приехали секретарь райкома и председатель треста. Ни Клевцова, ни Кукушки с ними не было.

Секретарь райкома совсем простой, пиджачок не из важных, черная косоворотка, лицом похож на наборщика, сероватый, небритый.

Председатель треста пофасонистее, рубашка голубая, галстук в крапинку, лицо сытое с румянцем, ботинки желтые с глянцем.

Поздоровались мы с гостями.

— Начнем, — говорит председатель треста.

— Шипулин, где ты? Начинать пора! — кричит Якушин.

Оглянулись: Шипулина нет — смылся куда-то. Искать, конечно, не стали, не до него.

— Товарищи, объявляю собрание открытым, — сказал вместо Шипулина Костомаров.

— Не надо... — остановил его секретарь райкома и махнул рукой. — Чего там собрание... Побеседуем просто...

Секретарь райкома потушил мелькнувший было в его глазах смешок и сурово спросил:

— Ну чего вы тут набедакурили? Рассказывайте! — сказал он это очень просто, и одновременно казалось, что он обращается к близким товарищам и напавшим детям.

Поднялся гомон. Кричали, перебивали друг друга, жаловались на беспорядки и крыли, крыли последними словами директора.

Шумели до полуночи. Секретарь райкома и председатель треста не останавливали никого, внимательно прислушивались к тяжелым речам, к раздраженным выкрикам и непрерывно делали

пометки в блокнотах.

К полуночи выговорились.

Нарядным цветным карандашом застучал по столу председатель треста.

— Совершенно ясно, — сказал он. — Типография работала неладно. Клевцов хозяйничал плохо, но почему же вы не жаловались, почему не обратили внимание треста на беспорядки? Нехорошо, товарищи, нехорошо. То тише воды, ниже травы, а то сразу пересолили.

Я молчал целый вечер, хотя язык мой сильно чесался, — больше терпеть я не мог.

— Извиняюсь, прошу слова, — обратился я к секретарю райкома.

— А вы кто? — внимательно спросил он меня, — с таким вопросом он обращался ко всем выступающим.

— Морозов, наборщик, беспартийный, — доложил я.

— Не Ивана Морозова отец? — еще раз спросил он, пристально вглядываясь в меня утомленными глазами.

— Его, — ответил я. — А теперь позвольте по существу. Вот трест говорит — не жаловались. Выходит, мы виноваты, а трест остается в стороне? Хорошо, а я вам расскажу пример из нашей же типографии — пусть трест слушает да на ус себе наматывает.

Я обратился ко всем собравшимся:

— Ребятишки, скажите — ка, вентиляторы у нас есть?

Мне дружно ответили:

— Есть!

— А работают они?

— Нет!

— Так для чего же у нас вентиляция?

Нельзя передать, какой хохот поднялся среди собравшихся.

Председатель треста попробовал догадаться и нерешительно спросил:

— Для декорации?

Я махнул ребятам рукой: тише, мол, тише, и сам, сдерживая смех, громко ответил:

— Ошибаетесь, для получения льготного тарифа по социальному страхованию.

При моем ответе улыбнулся даже секретарь райкома, но — честное слово! — улыбка у него получилась невеселая.

— Так вот, — продолжал я свою речь, — то же получается с трестом. Вентиляция была, льготы по ней получались, а вот следить, работает ли она, соцстрах не следил. Типография была, о ней даже разговоры какие — то шли, послабления всякие давались, а следить за ней трест не следил — упадка ее не заметил. Соцстрах не следил за вентиляцией, а вы за типографией...

Председатель треста попытался возразить:

— Не наша вина...

— Ваша, ваша вина, — оборвал его секретарь райкома и задал нам последний вопрос: — А скажите — ка, чего вы теперь хотите?

Вперед выступил Парфенов, провел рукой по всклокоченным, торчавшим в разные стороны непокорным волосам, пригладил их и громко объявил наше общее мнение:

— Требуем наладить типографию. Дайте хорошего хозяина. И чтобы при нем глаз был, а то Кукушка прозаседался совсем... Чтобы Клевцова и Кукушку убрать! И сначала работу наладить, а потом о сокращениях говорить: помяните мое слово, новых набирать придется... Вот чего от вас рабочий класс требует.

— Отлично, — сказал секретарь райкома. — Теперь выслушайте меня. Положим, вы не рабочий класс, рабочий класс — это металлисты, горняки, текстильщики, печатники — все вместе, а в отдельности вы маленечко переборщившие рабочие ребята. Согласен, директор был плох, трест не следил за типографией, но и вы поступили неправильно. Трест относился формально, так разве была закрыта дорога в райком, в Московский комитет? Особенно стыдно говорить такие вещи отцу Ивана Морозова. Ты бы, старик, вместо болтовни о вентиляции занялся бы делом и провентилировал типографию в райкоме. Рабочий ты хороший, человек умный, а вот дал себя сыну обогнать — сын сколько времени коммунистом был, а ты в хвосте плетешься. Я согласен, секретарь должен больше вниз смотреть, а не вверх, прозаседался ваш секретарь, а вы молчали. Нечего спорить, ваших вин можно насчитать много. Райком даст вам хорошего хозяина — директора, даст толкового партийца в ячейку, но смотрите, ребята, не подкачайте сами... Если вы все их не поддержите, не начнете все вместе налаживать типографию, у самых хороших руководителей ничего не получится...

Парень говорил долго, но дельно. Я обиделся на него сначала. Как это меня мог обогнать сын? Но о типографии он говорил правильно.

# x x x #

Разноцветные искры слепят, буйный ветер играет в снежки, клонятся разлапистые ели, приветствуя зиму, солнце, меня.

Я чувствую биение крови, наполняющее меня юношеским задором.

Как хорошо жить!

Наступил покой. И мне стало чего — то не хватать.

Я задумался. Несомненно, мне не хватало сына. Но — этого же нельзя забыть — у меня есть внук. Что, если рискнуть пойти к Нине Борисовне? Нет, мне не хотелось туда идти. Больно встретить на месте моего усталого, честного мальчугана какую — нибудь



самодовольную рожу с нафабранными усами...

И все — таки я пошел.

Нина Борисовна живет слевой одна. Она пожала мне руку, напоила чаем и сразу, сегодня же, отпустила Леву со мной — не было никаких разговоров ни о ветре, ни о шоколаде. Отпуская своего бледного карапуза, она опять дружески пожала мою руку, и я подумал: не ошибся ли Иван?..

А как меня встретил внучонок! Детский восторг неукротим. Левка, паршивец мой, как же я смел прекратить было с тобой знакомство!

Мы захватили санки, дождалась трамвая и прямиком отправились на Воробьевы горы.

Нам обоим одинаково весело. Перебивая друг друга, мы заразительно смеемся, и оба равно счастливы — и внук, сидящий на санках, помахивающий длинной хворостиной, и запыхавшийся, везущий санки дед.

Мы несемся как угорелые, с разбегу я не замечаю людей и налетаю на целую компанию ребятишек.

— Расступись, расступись! — залихватски кричу я, вмешавшись в шумливую толпу.

— Здорово ты разбушевался! — слышу я знакомый голос.

Ба, да здесь Валентина!

— Скажите — ка лучше, Валентина Владимировна, зачем вы здесь очутились? — прикрикиваю я на нее.

— Лыжи, лыжи, лыжи! — хором отвечает вся ее компания.

— Отлично, Валентина Владимировна, — говорю я, — на лыжах еще успеете накататься, а пока я вас мобилизую: извольте — ка побегать с вашим племянником, сил моих больше нет.

Я вручаю Валентине внука. Вся компания, окружив Леву, весело уносится прочь.

Я опираюсь о дерево и с удовлетворением оглядываю окрестность.

Везде смеющиеся молодые лица, снег похрустывает под ногами, мороз пощипывает носы, и, уж конечно, больше всего достается моему носу.

Я поворачиваюсь в сторону Москвы, и мысли мои снова возвращаются в типографию.

Мы не узнаем ее, мы, старые рабочие, знающие ее всю вдоль и поперек. Придя к нам, новый директор не издал никаких приказов, упаси бог, а зашел в наборную, поздоровался, остановился около моего реала и сказал:

— А ну — ка, братва, попробую: не разучился ли я набирать?

Ничего, набрал объявление. Свой парень.

Стали думать о производстве. И как думать! Заикнулся Якушин на производственном совещании о припрятывании отдельными наборщиками инструмента, а новый секретарь тут как тут. "Прошло,

говорит, время, когда инструмент прятали..." И все мы, как один, следим друг за другом: только спрячь теперь! Жаренова уже два раза оштрафовали.

Я набираю объявления. И не успел я на производственном совещании молвить, что, прежде чем объявление делать, заранее надо набросать карандашом рисунок набора, как на другое же утро было отдано распоряжение: ни одного объявления без предварительного наброска, — теперь работу по три раза не переделывают!

Не хватает у нас машинных наборщиков. Директор выделил два десятка ручников, и ребята засучив рукава взялись за учебу — учатся работать на линоTYPE...

Да что же это такое? Или мне сегодня весь день знакомых встречать?

Навстречу мне Настя Краснова, комсомолочка наша, с. Архипкой на лыжах бегут.

— Добрый день, Владимир Петрович! — крикнули они и хотели свернуть в сторону.

Шутки шутите!

— Нет, брат, шалишь! — крикнул я и поманил их к себе пальцем.

— Ты о чем меня вчера просил? — строго обратился я к Архипке.

— Известно о чем, — деловито ответил он. — Всегда об этом просил. Надоело тискать, а вы набору поучить не хотите.

— Поучить просишь, а сам от меня удрать сейчас хотел? — заворчал я на него.

Архипка смутился, Настя покраснела.

— Ну ладно, ладно, сыпьте! — отпустил я их. — На будущей неделе возьму тебя к себе прописные подавать.

Ребята просить себя не заставили. Точно я им пятки салом смазал, миг — и скрылись за поворотом.

Чудесный парень Архипка!

И, самое важное, никаких разговоров о пенсии. Какая тут пенсия, когда на биржу требования летят.

Однако холодно.

Я тру себе нос и с нетерпением дожидаюсь возвращения внука: уж не случилось ли чего —нибудь с ним?

Но вот и они. Кудлатые пряди волос выбились у Валентины из — под шапочки, она запыхалась и все — таки громко хохочет. Не доезжая десятка шагов, Левка соскакивает с саней, кубарем падает на снег, поднимается, весь в снегу, со сползшими с рук варежками, болтающимися на шнурке, и быстро — быстро семенит ко мне.

— Как она тебя покатала? — спрашиваю я внука, кивая на Валентину.

Валентина подтаскивает ко мне санки и стремглав бежит

прочь, боясь, что я ее опять задержу каким – нибудь поручением.

Но ее останавливает Лева:

– Тетенька – тетища!

Валентина останавливается и издали кричит:

– Ну?

– Приходи ко мне играть, – приглашает ее племянник.

– Ладно! – отвечает тетища, исчезая под горой.

Мой внучок поеживается. Становится холодно, ему хочется есть.

Крепко держа меня за руку, Левка поднимает кверху розовое курносое личико и настойчиво кричит:

– Солнышко, нам холодно!

– Ничего, брат, весна не за горами, – утешаю его я, сажаю к себе на плечи и бегом направляюсь к трамвайной остановке.

# x x x #

Весело потрескивают в печке пылающие дрова.

Снова праздник, и снова я один: старуха на рынке, Валентина на лыжах.

Яркое январское солнце отталкивается от ослепительных белых сугробов и пытается раздробить оконные стекла на тысячи цветных осколков.

Я сижу за столом и перелистываю свои записки. Много изменилось с тех пор, когда я в третий раз начал записывать свои мысли. Жизнь переменилась. Я многое потерял: потерял плохое настроение – типография работает великолепно, потерял сына, потерял свой острый язык. Но кое – что и нашел.

Достань, Морозов, бумажник! Вынь из него крохотную книжечку в картонной обложке! Погляди на нее и скажи: все ли это, чего ты хотел?

Со спокойной совестью я отвечаю себе:

– Да, все.

Нет теперь людей, которые шли бы впереди меня.

Да, товарищи, я иду вместе с вами рядом, будь вы вожди, а я только простой наборщик.

Теперь у меня не то, что прибавилось дел, но я почувствовал, что нет теперь дела, за которое бы я не отвечал.

На себе я не успокоюсь, и погоди, погоди хоть ты, Климов, в дружеской беседе за кружкой пива я докажу тебе свою правоту и заставлю последовать моему примеру.

И еще: у меня больше нет времени для болтовни. В третий раз свои записки я уничтожу сам. Вот я отдираю первые страницы, подхожу к печке и бросаю исписанную бумагу на объятые огнем головешки. Я помешиваю кочергой, и бумага вспыхивает ярко и

задорно. Гори, гори, мне тебя не жалко! Дописываю последнюю страницу, ставлю последнюю точку, и остаток тетради полетит сейчас в печь.

1928 г.